

*Песня песков — песня сирен,
заманивающих путешественников
на верную гибель в безводной пустыне,
колокольный звон монастырей,
погребенных в пучине песков.*

Р.А. Бэгноулд,
английский исследователь

*Природа поющих песков до конца
не изучена.*

Из Интернета

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В том году я несколько месяцев жил в маленьком двухэтажном домике на Куршской косе, что узенькой ленточкой тянется от Калининграда до Ниды и дальше до литовского города Клайпеда.

В этих местах, в бывшей Восточной Пруссии, я служил в армии, в ракетных войсках стратегического назначения. Демобилизовался я прошлой осенью, в середине октября, в самый разгар бабьего лета. Восстанавливаться на учебу в пединституте, откуда меня призвали в армию три года назад, было уже поздно. Все мои новые однокурсники готовились к зимней сессии, и мне никак их было не догнать. Я съездил на несколько недель домой к ма-

тери, получив взамен военного билета паспорт и вернулся назад в город Гвардейск (когда-то у немцев он назывался Тапиау), где и проходил службу. Еще будучи солдатом и сержантом, я сотрудничал с местной районной газетой, приносил туда небольшие заметки, а чаще стихи, которые начал тогда писать. В газете меня хорошо помнили и без особых проверок взяли литсотрудником сельхозотдела.

Работать в газете я намеревался до июня-июля, а потом, как следует отдохнув дома у матери, восстановиться в пединституте и начать учебу заново, с первого сентября.

Но ранней весной все мои планы неожиданно разрушились. Я вдруг решил бросить газету, уехать на Куршскую косу, снять там комнату или мансарду и засесть писать роман, сюжет которого в голове моей давно созрел. Я даже точно знал, где сниму себе жилье.

Минувшей осенью мне однажды уже довелось побывать на Куршской песчаной косе. В Калининграде жил мой товарищ и первый литературный наставник Женя Шанин. Он был старше меня на целых десять лет и преподавал в пединституте, где вел практические занятия по выразительному чтению. Все начинающие калининградские поэты, музыканты и актеры тянулись к нему, человеку чистейшей души и сердца. На одном из областных совещаний молодых поэтов Женя заметил и меня, тогда еще в форме старшего сержанта ракетных войск.

Устроившись на газетную работу, я часто стал приезжать из Гвардейска в Калининград, к Жене, бывать в его маленькой комнатке на улице Офицерской, где почти каждый вечер собирались юные дарования. Мы читали только что написанные стихи, пели под гитару (и Женя лучше и проникновенней всех) входящие в моду песни Новеллы Матвеевой, Булата Окуджавы и Юрия Визбора. Хорошо нам было в те дни, отрадно, шумно и весело — и по-молодому счастливо.

Осенью, как только начинались в пединституте занятия, Женя с неугомонными своими подопечными ездил на заповедную Куршскую косу, тогда еще открытую для любого и каждого путешественника (после, уже не в мое время, ее закроют и станут пропускать туда любителей путешествий лишь по особому разрешению). Собираясь в одну из таких поездок, Женя пригласил на косу и меня.

Нагруженные рюкзаками (я стареньким своим, армейским, прошедшим за три года службы со мной все огни и воды), палатками, ведрами и котелками, мы на зеленой юркой электричке доехали до города Зеленоградска, бывшего Кранца, а потом, пройдя за его околицу, может быть, всего километр или полтора, обосновались беспокойным студенческим лагерем в одном из самых узеньких мест косы, на берегу Балтийского моря.

Куршская коса поразила меня своей красотой и каким-то непознаваемым величием, присущим лишь таким вот окраинным, конечным островам земной суши и тверди. (После такую же красоту и такое же величие я почувствую и осознаю на северном полуострове Полярном, куда меня случайно занесет судьба).

С левой, западной, стороны Куршской косы простирается незамерзающее от близкого течения Гольфстрим, но все равно почти всегда, в любую пору года какое-то холодное и неприветливое Балтийское море. Мне казалось, оно никогда не бывает синим, а чаще всего либо темно-зеленым во время дождя и шторма, либо светло-коричневым, янтарным в солнечные, ясные дни, но от этого не менее холодным.

С правой стороны косы тихо и незаметно плещется заросший по берегам камышом (точь-в-точь, как у меня на родине, река Снов) Куршский залив. В него впадает множество рек и речушек, и, наверное, от этого вода в заливе пресная (или считается пресной).

Вдоль всей Куршской косы до самой Ниды и Клайпеды растут лиственные и хвойные леса: березы, клены и липы, сказочно-таинственные ели и высокие корабельные сосны. Но больше всего путешественников удивляют причудливо согнутые горные сосенки, островки которых называют «танцующим лесом». Под напором штормового, дующего с Балтийского моря ветра корабельные сосны заметно склонены на восток, к Куршскому заливу. Иногда даже кажется, что они устали бороться с этим жестоким ветром и держатся из последних сил. Но держатся и не покоряются ему, больше всего на свете боясь превратиться в кривые и корявые горные сосенки. Корабельные сосны величественно скрипят вековыми своими стволами и еще более величественно шумят высоко вверху темно-зелеными, цвета морской волны, кронами.

Но главная достопримечательность на Куршской косе — песчаные, раскинувшиеся по всему морскому побережью дюны. Самая высокая из них — Королевская подвижная дюна, которую называют еще дюной Эфа в честь королевского дюнного инспектора Вильгельма Франца Эфа. Если подняться на вершину этой почти семидесятиметровой дюны, то можно услышать, как поют ее всегда влажные пепельно-белые пески. Говорят, что леса на Куршской косе вблизи города Куршланд-Вендланд очень старые и никогда не вырубались. Здесь на протяжении нескольких столетий был королевский охотничий заказник. В нем отлавливали и обучали королевских соколов. Существует еще множество других легенд и преданий о Куршской косе, о ее лугах и озерах, о «танцующем» лесе и Королевской поющей дюне.

Пока ребята разбивали лагерь, устанавливали палатки, устлая их сосновыми ветками, мы с Женей сходили к Куршскому заливу и в луговом озере набрали два ведра пресной прозрачно-чистой воды для чая. Девчонки тут же принялись кипятить ее на костре в медном закопченном чайнике — общем, как я понял, достоянии всей дружной студенческой компании.

Несмотря на конец октября, погода стояла не просто теплая, а почти что жаркая. Такое в Калининградской области случается часто. Листья на деревьях — березах, осинах и кленах — нигде не пожелтели, не взялись осенней позолотой и багрянцем. Они были еще упругими и свежезелеными, словно в летние июньские или июльские дни.

Мы думали, что море тоже еще теплое, и в нем можно будет купаться. Но оно было уже холодным, с пенистыми рокочущими волнами, предвестниками скорого шторма. Купаться мы не рискнули, а лишь, дожидаясь, пока закипит чайник, стали бродить вдоль берега и выискивать в песке и гальке крупинки янтаря. На Балтийском море это любимое занятие всех местных жителей и особенно приезжих путешественников, которые надеются найти большой янтарный камень с запечатленной внутри мушкой, по преданиям, приносящий удачу и счастье. Надеялись на это и мы, хотя и знали, что случается такое очень редко...

Мы были на самой западной окраине нашей земли, но солнце было еще западнее. Оно уже садилось и потухало, освещая море и бегущие одну за другой волны, но почти не освещало прибой и прибрежную полосу, укрывая от нас янтарные камушки. Их лучше всего искать утром, на вос-

ходе, когда солнце светит навстречу морю и волнам, и камушки зримо блестят, искрятся на прибрежном песке. Но мы все равно искали их и надеялись на удачу...

Но вот чайник, наконец, закипел, и мы группами и поодиночке потянулись к костру. И тут нас вдруг застал требовательный зовущий голос женщины, который долетал из небольшого двухэтажного домика (вернее, одноэтажного, но с высокой мансардой под самой крышей), нависшего над песчаной зыбкою кручей.

— Мальвина! Мальвина! — кричала женщина (судя по голосу, совсем еще молодая), скорее всего, зовя какую-нибудь маленькую девочку, дочь.

Мы невольно удивились этому странному имени и принялись гадать, действительно девочку назвали так по рождению в честь Мальвины с голубыми волосами из сказки о деревянном человечке Буратино, или это только прозвище, а на самом деле ее зовут совсем по-иному, обыкновенным именем.

Крик, между тем, повторился еще раз и еще:

— Мальвина! Мальвина!

Мы остановились и с любопытством стали ожидать, кто же откликнется на этот строгий требовательный крик. Но никто не откликнулся. Мы встревожились и готовы уже были прийти на помощь юной матери в поисках непослушной ее дочери. Но вот из-за песчаного прибрежного бугорка, до которого мы не дошли всего нескольких шагов, показалась девочка лет четырех, в летних, надетых на босую ногу сандалиях. Отряхнув от песка ладошки и пальцы (должно быть, воздвигала на берегу какой-нибудь сказочный город или тоже искала янтарные сокровища), она вприпрыжку побежала к дому. Две туго заплетенные косички с белыми бантиками за каждым шагом весело раскачивались из стороны в сторону и били девочку по хрупким худеньким плечикам. Солнце, будто специально, в последний раз поднявшись над морским горизонтом, осветило бегущую фигурку, и нам показалось, что волосы у девочки действительно голубые. Наверное, это был обман зрения, который часто случается, когда сливаются при закате солнца ярко-голубой цвет неба с янтарно-зеленым цветом моря и пепельно-белым отблеском песка.

Девочка быстро поднялась по узенькой тропинке к домику, хлопнула вначале калиткой, а потом и входной дверью — и почти в то же мгновение в домике зажглись огненно-желтые, далеко видимые в вечерних сумерках огни, напоминающие огни маяка, которого так ждут в море терпящие бедствие корабли.

Мы перестали тревожиться за девочку Мальвину (а то, что она Мальвина, согласились единодушно) и за ее строгую мать и веселой гурьбой заторопились к костру, откуда нас тоже все настойчивей и настойчивей звали.

* * *

Чай уже закипел и был разлит в чашки. Но кроме чая появилось еще несколько бутылок белого сухого вина, любимого напитка в те годы всех студентов.

Мы выпили за море, за янтарные его сокровища, за песчаные поющие дюны, на которые собирались подняться завтра утром, и, чуточку захмелев, принялись петь то про дежурного по апрелю, то про капитана с уса-

ми и без усов («капитан без усов, словно корабль без парусов»), то про бригадину и Гренаду. Потом стали по кругу читать стихи, свои и чужие, мало похожие на прежние, знакомые нам с детства по урокам русской литературы.

Женя безжалостно поднял меня и заставил при полной тишине и внимании слушателей читать стихи-верлибры, до написания которых я дошел собственным умом, не зная, что их писали многие поэты с незапамятных времен, а я не слышал даже имени великого американского поэта Уолта Уитмена. Сбиваясь и на каждой строчке забывая текст (Женя мне вовремя подсказывал, приходил на выручку), я стал читать, чутко и ревниво улавливая настроение взыскательных своих слушателей.

Стихи мои им понравились, и студенты просили читать еще и еще. Я читал, но ревнивое чувство меня не покидало. Все ребята вокруг костра были моими ровесниками (кто чуть старше, кто моложе), но все они уже заканчивали институт, а мне еще только предстояло следующей осенью начать учиться на первом курсе. Если бы меня не призвали в армию, я бы сейчас тоже был уже на четвертом курсе, во всем ровня им, без двух минут учитель, преподаватель русского языка и литературы. Но меня призвали, и теперь я чувствовал себя рядом с ребятами-студентами уязвленным и подавленным, словно молодой («зеленый»), не принявший еще присяги новобранец перед солдатами третьего года службы — «стариками» и «дедами».

Это чувство, наверное, испортило бы мне весь вечер, но вдруг возле моря послышалось ржание и фырканье лошади, а спустя несколько минут к нашему костру подошли три пограничника с так хорошо знакомыми мне автоматами Калашникова на плечах: старший сержант и два рядовых — пограничный наряд.

Старший сержант, поправив, подпернув на плече автомат (я всем своим не отвыкшим еще от оружия телом почувствовал, как при этом ощутимо ударился, торкнулся чуть ниже его правой лопатки ребристо-согнутый, набитый патронами рожок), с достоинством, но без лишней строгости поздоровался с нами и предупредил:

— Мы сейчас проборонуем прибрежную полосу, так вы до утра ее не переходите!

Ребята, по-видимому, не раз во время своих походов встречавшиеся здесь с пограничниками, дружно пообещали:

— Не будем!

Пограничники собрались уже было уходить к запряженной в обыкновенную крестьянскую борону лошади, которая опять зафыркала и забеспокоилась за кустами возле берега, но тут вдруг девчонки стали наперебой приглашать неожиданных гостей к костру:

— Садитесь с нами, попейте чаю!

Старший сержант минуту поколебался, посмотрел на часы, а потом вдруг согласился (как я понимал его в эту минуту!):

— Только недолго, а то лошадь у нас пуглива, моря боится.

— Недолго, недолго, — пообещали девчонки и, в одно мгновение забыв о своих гражданских сверстниках, с нескрываемым восхищением посмотрели на мужественную форму пограничников, на их зеленые, с чуть укороченными козырьками фуражки (известное дело — пограничники, единственные из всех родов войск, пилоток не носили, чем очень гордились, считая пилотки легкомысленным и ненадежным головным убором). Все потеснились, расширили возле костра круг и усадили погранич-

ный наряд на камнях и сосновых моренных бревнах, которых морские волны пригнали, может быть, из самой Швеции.

Почувствовав рядом «своих», родных людей, солдат, я воспрянул духом, приободрился и тайком, про себя, пожалел, что военный свой мундир, тоже с нашивками старшего сержанта на погонах, медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и полным набором знаков солдатской доблести — гвардейским значком, значками «Отличника Советской армии», «Классного специалиста» и ГТО второго разряда — оставил дома у матери, а то можно было бы и мне явиться сегодня перед студентами в ладно подогнанном дембельском мундире, и девчонки смотрели бы на меня точно так, как смотрят сейчас на пограничников. Правда, погоны и фуражка у меня не зеленые, а угольно-черные. Но это не имеет никакого значения. Наоборот, парадные огненно-золотые нашивки на черных погонах и на тугом стоячем воротничке смотрятся гораздо ярче и ослепительней, чем у пограничников.

Для начала пограничникам, конечно, налили не чаю, а вина. Сержант, принимая стакан, опять минуту поколебался — пить или не пить, — ведь пить вино или водку солдатам срочной службы, да еще при несении караульного наряда, строго-настрого запрещено, но потом все-таки выпил и разрешил выпить своим подчиненным. Я опять, как никто из собравшихся здесь, понял его. Что может быть отрадней солдату этой запретной выпивки в кругу своих гражданских сверстников?! Кто не служил в армии, тот и отдаленно не может знать, как томится под казенными мундирами и робами-хэбэ солдатские сердца и души, как нестерпимо хочется армейцам поскорее стать гражданскими, свободными людьми и как сладка им вот такая случайная пирушка возле вечернего костерка, да еще в окружении столь внимательных к ним студентов.

Подчиненные сержанта начали откровенно заигрывать и ухаживать за девчонками, и, кажется, не без успеха. Он по-командирски жестко и предупреждающе посмотрел на них, но потом дал полную волю и свободу, должно быть, хорошо зная, что за недолгие эти минуты отдыха ничего плохого с ними не случится и ничего плохого они не сотворят...

* * *

Пограничники посидели возле костра, наверное, еще минут двадцать, а потом поблагодарили нас за угощение, попрощались и ушли к своей нетерпеливой, уставшей стоять в одиночестве лошади.

Сопровождать их вызвались несколько наших самых отчаянных, жаждающих приключений девчонок. Мы, хотя и с сожалением, но отпустили их и после долго слушали, как они, все дальше и дальше удаляясь от костра и лагеря, весело, со смехом и частыми громкими криками переговариваются с пограничниками, учатся управлять запряженной в борону лошадью и, похоже, готовы идти за ней на край света.

Незаметно наступила ночь, небо озарилось высокими, немного влажными и от этого по-особому искристыми звездами. Я ожидал, что сейчас студенты и студентки разобьются по парам и разойдутся вдоль побережья, как расходятся после кино и танцев наши деревенские ребята и девчонки вдоль реки. Но практически вся группа осталась на месте: то ли в студенческой этой, во многом пока загадочной для меня компании не было принято расходиться, оставляя своего наставника Женю, Евгения Алексеевича, одного, то ли пары в ней еще не образовались. Наоборот, как толь-

ко пограничники ушли, студенты сплотились вокруг костра еще тесней, забыли и про вино, и про чай, опять принялись петь и про капитана, и про «большой ветер, который напал на наш остров», и еще Бог знает о чем.

Я за три года военной службы привык к иным песням: строевым, с понятными и ясными словами, поднимающими боевой дух и доблесть, а эти я знал еще плохо, не все в них понимал и лишь, не умея петь, одиноко томился и печалился. Время от времени я поглядывал на домик, на ярко-желтые огни в его окнах, пытался представить, что происходит сейчас за ними, что говорит мама (и какая она?!) Мальвине и что говорит девочка Мальвина маме, и что им обеим говорит их, наверное, тоже очень строгий папа...

Но вот огни потухли, домик погрузился в чернильно-черную темноту, стал невидимым, будто исчез навсегда, и мне от этого сделалось совсем грустно...

Ребята у костра перестали петь, Женя отложил гитару и вдруг начал читать с особым проникновением и глубиной, как это умел делать только он один, новое, еще никем из собравшихся не слышанное стихотворение Новеллы Матвеевой:

Был человек раздвоен,
Был человек расстроен,
Расчетверен,
Распят...

И это все было обо мне...

* * *

Мы засиделись у костра до самого рассвета. В палатку ушли и сразу крепко уснули лишь те три девчонки, которые ходили провожать пограничников. Среди них между прочим была одна, с которой я еще в электричке несколько раз переглядывался, и она не отводила от меня взгляда своих синих пронзительных глаз. Но теперь попутчица моя, кажется, забыла об этих взаимно любознательных наших взглядах и безмятежно спала в палатке на пахнущей морем хвое. И я, совсем еще не зная ее и не любя, повторил ей на сон грядущий несколько строчек стихотворения Евгения Евтушенко, которым мы тогда все так восхищались:

Любимая, спи...
Мою душу не мучай,
Уже засыпают и горы, и степь,
И пес наш хромучий,
лохмато-дремучий,
ложится и лижет соленую цепь...

Она, должно быть, услышав мои заклинания, уснула еще крепче и не видела, как солнце уже поднялось над Куршским заливом и, ярко освещая на море встречные пенистые волны, преступно перешагнуло через нейтральную полосу и всеми цветами радуги заиграло на выброшенных за ночь прибоем крупинках янтаря.

Мы всей гурьбой пошли искать его. Кому-то повезло, и он нашел не только янтарную песчинку, но даже и крупный, нежно-солнечного цвета камушек с остро обломанными краями и гранями, а кому-то не повезло вовсе. По крайней мере, я не отыскал (еще не приловчился) не только камушка, но и самой маленькой янтарной капельки. А мне ведь так хо-

телось подарить свою находку той неверной попутчице из электрички, что сейчас сладко и дремотно спала в палатке...

Пока мы бродили по побережью, безжалостно вытаптывая нейтральную полосу, солнце поднялось совсем высоко, выше корабельных скрипучих сосен и выше дюн, задержалось на несколько минут над кирпично-красным домиком, наверное, затем, чтоб разбудить там девочку Мальвину, и побежало дальше на запад, через море, в чужие, холодные страны...

Радуясь своим находкам и щедро делясь ими друг с другом, мы опять вернулись в лагерь, разожгли костер, попили чаю и, неობидно подтрунивая над девчонками-беглянками, которые только-только выглянули из палаток, стали собираться в поход и к восхождению на дюны, в первую очередь, конечно, на самую высокую, Королевскую, чтоб послушать ее поющие пески, посмотреть с ее поросшей редкими, похожими на колючие кактусы растениями вершины на широкий горизонт в надежде увидеть там настоящий корабль, непременно под тугими белыми парусами; а потом оглядеть тихо плещущийся Куршский залив, где, конечно же, никакого корабля с парусами быть не могло — одни только утлые лодчонки каких-нибудь рыбаков-удочников. Но и на них можно было смотреть часами. Собственно, ради этого мы и приехали в последние дни октября сюда, на Куршскую косу.

Как истинные опытные покорители горных и песчаных вершин, мы вооружились палками и посохами, изобретя их из выброшенных на берег коряг, и дружно выстроились в затылок нашему предводителю — Жене. Но вдруг, откуда ни возьмись, с моря подул холодный колючий ветер («какой большой ветер напал на наш остров, с домишек сдул крыши, как с молока пену»), небо вмиг затянулось низкими черными тучами, и из них, как из ведра, полил на нас секущий лица и руки дождь.

В Прибалтике перемена погоды случается по сто раз на дню. Я это хорошо знал и изучил за три года армейской службы. Бывало, слаженным солдатским строем маршируем мы на завтрак или обед: солнце горит и сияет над нашими головами ярче яркого, на небе ни единого облачка, синь такая, что даже глаза болят; а возвращаемся назад всего через полчаса — все переменялось: испуганное солнце будто укатилось за горизонт, небо все в низких лохматых тучах, из которых льется вот точно такой же, как и сегодня, проливной дождь. Солдаты, правда, не унывают (люди привычные, закаленные), по команде сержанта, не нарушая строя, пускаются бегом в казарму, и не раз случалось, что не успевают строй еще добежать и рассыпаться, как все опять переменится — тучи, гонимые ветром, бесследно исчезнут, а отдохнувшее солнце выкатится из-за горизонта и засияет пуще прежнего.

Ребята-студенты, жившие в Калининградской области тоже не первый год, знали эту переменчивость прибалтийской погоды не хуже меня. Ожидая, что дождь через минуту-другую, самое многое через полчаса, прекратится и можно будет двинуться в поход, мы забились в палатки (как мне хотелось попасть в одну палатку с той, у которой такие сильные пронзительные глаза) и притаились там.

Но дождь становился все сильнее и сильнее. Все-таки была уже осень: тепло и жара оказались обманчивыми и недолговечными. Изредка выглядывая из палаток, мы даже видели, что между струями дождя замелькали тяжелые и мокрые хлопья снега. Одеты мы были по-летнему легкомысленно: девчонки в легкие, часто даже с короткими рукавами платья; ребята в такие же рубашки. В запасе, правда, кое у кого были не больно

надежной, тонкой вязки свитера. Но они не столько грели, сколько придавали нам вид отважных морских волков (так мы о себе думали), поклонников Хемингуэя, портрет которого в сером, с высоким воротом свитере свяшенно хранился у каждого из нас. Лишь у нескольких человек случайно оказались в рюкзаках модные тогда болоньевые плащи или штормовки, да у меня солдатская непромокаемая плащ-палатка. При демобилизации мне ее милостиво выдал старшина батареи Коста Никольский в знак нашей с ним крепкой трехлетней дружбы.

— Бери! — царственно сказал он. — Сгодится!

Я взял. И вот сгодилась.

В укрытии мы стойко и мужественно просидели еще с полчаса, а может быть, и целый час, надеясь, что погода прояснится и наш отряд непременно поднимется на дюну, если не на Королевскую, то хотя бы на самую ближнюю к нам, не очень высокую и, скорее всего, непоющую. Но, казалось, солнце оставило и забыло нас, и Женя принял непреклонное решение — сворачивать лагерь и как можно скорее идти на станцию, чтоб успеть на одиннадцатичасовую электричку. Восхождение на дюны откладывалось до весны.

Мы безропотно подчинились: сами хорошо видели, что пропадем здесь, возле зеленого разбушевавшегося моря. Прикрываясь моей растянутой за четыре угла плащ-палаткой, мы наскоро собрали нехитрый свой скарб, побросали палки и посохи и поднялись на макрое и скользкое от дождя и снега шоссе. Оно было совсем не таким, как у нас, в центральной России. Выложенное немцами в полукруг из точно вымеренных квадратных булыжников, шоссе это в осеннюю непогоду и шторм выглядело по-тевтонски угрюмым и мрачно-зловещим. Казалось, еще мгновение и, преграждая нам дорогу, из-за поворота выскочит конный отряд псов-рыцарей, закованных в латы и шлемы, похожие на перевернутые вверх дном ведра, точь-в-точь, как в кино «Александр Невский». Идти по такому шоссе, да еще навстречу дождю и штормовому ветру, было тяжело и опасно. Низко наклонив головы, мы с большим трудом одолевали шаг за шагом, булыжник за булыжником и уже явственно слышали, как переговариваются на отрывистом своем прусском наречии псы-рыцари, как они звенят щитами и копьями.

Домик Мальвины и ее юной матери шоссе теснило почти к самому морскому обрыву и будто хотело столкнуть его туда. Но он упрямо стоял, не поддаваясь ни дождю, ни ветру, иногда переходящему в настоящий шквал.

Придерживая на пару с одним парнем над головами девчонок рвущуюся на ветру плащ-палатку, я постоянно оглядывался на спасительный домик-укрытие. Он не подавал никаких признаков жизни. Калитка и двери были крепко заперты, окна наглухо задернуты темно-коричневыми шторами. Можно было подумать, что обитатели домика бежали от надвигающегося шторма, а еще больше от нашествия псов-рыцарей куда-нибудь вглубь полуострова, в леса или на Королевскую дюну, где у них есть надежное укрытие. А может, наоборот, они закрылись в доме, не боясь ни шторма, ни призрачных рыцарей, растапливают сейчас кафельную голландскую печку, и всем им там хорошо и уютно.

Я все это зримо представлял: и высокую печку-голландку, обложенную темно-зеленым с прожилками кафелем, которая разгоралась все сильнее и сильнее, наполняя дом мягким древесным теплом; и плотно задернутые со стороны шоссе, чтоб обитателей дома не обнаружили незваные

гости, шторы; и громадный стол посреди комнаты, а на нем чашки с обжигающе-горячим дымящимся кофе. Мне нестерпимо захотелось туда, в этот домик, в его тепло и уют, к раскаленной печке (как хорошо было бы прижать к ней донельзя озябшие пальцы!), к дымно-пахучему, с едва ощутимой на вкус горчинкой кофе, к девочке Мальвине в розовом платъице, к ее взыскательной матери и (так уж и быть!) к их папе, возможно, капитану какого-нибудь громадного океанского корабля-судна.

Но надо было идти все вперед и вперед. Прикрывая плащ-палаткой совсем окоченевших девчонок, в том числе и ту, с пронзительными глазами, которая теперь опять поглядывала на меня точно так, как вчера в электричке, надо было спасаться бегством и спасать своих незадачливых попутчиков и попутчиц, все-таки я был недавний солдат, защитник и рыцарь.

Я покорился судьбе, дал себе твердое обещание больше не оглядываться на так предательски манящий меня к себе домик, а то еще действительно, чего доброго, поверну к нему и укроюсь за его толстыми стенами, которые от дождя и ветра стали бордово-бурыми, холодно-неприветливыми снаружи и нежно-теплыми изнутри.

Но на повороте я все же не выдержал и в последний раз оглянулся на него. И вот именно в это мгновение (я после часто вспоминал его и никак не мог понять, что же со мной случилось?) я решил, что рано по весне брошу свою опостылевшую газетную работу, приеду сюда, на Куршскую косу, и сниму комнату в этом почти уже родном мне домике. А то, что свободная комната (или даже пусть какой-нибудь чуланчик) в нем непременно есть, я ничуть не сомневался, так же, как не сомневался, что мне эту комнату или чуланчик обязательно сдадут...

* * *

И вот я здесь. Правда, приехать ранней весной, в конце марта или в начале апреля, мне не удалось. Меня не отпустили с работы. Неожиданно заболел заведующий сельхозотделом, мой грозный газетный наставник (у него открылись давние фронтные раны), и мне пришлось одному готовить и сдавать ответственному секретарю все материалы по веселому нашему отделу. А их требовалось бессчетное количество, прорва: о заготовке и вывозке в поля органических и минеральных удобрений, о ремонте сельскохозяйственной техники и подготовке к посевной кампании, о надоях молока и привесах мяса и о многих иных свершениях колхозно-деревенской жизни. Потом шли два «красных номера» — к Первому Мая и Дню Победы, и опять разговор об увольнении пришлось отложить.

Расстался я с газетой лишь после всенародных этих красноразнозначных праздников. Наскоро собрав нехитрые свои пожитки в рюкзак и дембельский чемодан, оклеенный изнутри фотографиями, на которых четко прослеживался весь мой боевой путь, начиная от первых дней службы (смешно мне было теперь смотреть на лопоухого, немного испуганного мальчишку в первозданно-зеленой, топорщащейся форме) и заканчивая последними, я в тот же день уехал на рейсовом автобусе в Калининград, а оттуда на электричке в Зеленоградск-Кранц.

Весна на Куршской косе была в самом разгаре. На обочине шоссе цвели, казалось, все, какие только есть на свете, цветы и травы: желтогорячие лютики, луговые ирисы, зверобой, золототысячник и медуница. Уже начинала расцветать сирень, которой в Калининградской обла-

сти великое множество: и кипенно-белая, и нежно-голубая (сиреневая), и фиолетово-синяя и редко встречаемая в других местах — черная. Новорожденные листья на березах, осинах, липах и кленах были еще первоначально клейкими и липкими, но росли даже не по дням и часам, а по минутам и секундам. От них не отставали сосны: и высоко-мачтовые, корабельные, и горные, танцующие. На кончике каждой ветки они стремительно выбросили вверх пушистые свечи с зелено-коричневыми шапочками наверху. Если затаить дыхание и присмотреться повнимательней, то обязательно заметишь, как при свете яркого весеннего солнца колыхнутся на кончиках свечей и трепещут в воздушном мареве голубые прозрачные огоньки.

Все птицы земли тоже, кажется, здесь: воробьи, синицы, ласточки, горлицы-голубки, грачи, сороки и вороны, скворцы, дятлы и филины, щеглы и королики, не говоря уже про ястребов, коршунов и морских чаек, которые кружат высоко в небе, зорко оглядывая все земное и водное, подвластное им пространство. Птичий грай, щебетанье и гомон стоят невероятные: никто еще ни от кого не прячется, не скрывается, все на виду, все радуется весне и солнцу.

Вдоволь и зверья: белок, куниц, барсуков, лис, только что поменявших свой окрас зайцев, осторожных и неопасных еще волков, оленей, которые громогласно и призывно трубят где-то на материке. И над всем этим цветоносным, птичьим и звериным миром грозно и безраздельно властвует море. Оно тоже весеннее, молодое и юное: волны и валы его похмельному пенные и неостановимые. Они катятся и катятся на янтарный берег и почти стучатся в двери островерхого, покрытого красной черепицей домика.

Постучался в дверь и я. Долго не было слышно ни единого шага, ни единого шороха, все в доме замерло и не подавало никаких признаков жизни, но я неопровержимо знал, что кто-то в нем все-таки есть, что жизнь там не просто теплится, а бурлит, как бурлит все вокруг, разбуженное весной. Во-первых, шторы и тюлевые занавески со стороны шоссе были широко распахнуты, распахнуты были и сами окна, и на подоконниках стояли в хрустальных старинных вазах два громадных букета сирени: один неправдоподобно белый (белее снега и кучевых облаков, которые как раз в это время проплывали над домом), а другой, наоборот, неправдоподобно черный (чернее самой глухой и непроглядной осенней ночи). Чувствовалось, что букеты поставлены на подоконниках совсем недавно, может быть, всего час или полтора тому назад: на них еще не успели просохнуть капельки утренней прозрачной росы. А, во-вторых, не была заперта калитка, и я, свернув с дороги к домику, без всякого труда открыл ее, и по этой беспечности хозяев сразу догадался, что они непременно дома: кто же бросает калитку незапертой на щеколду, отправляясь по каким-нибудь делам в город или на побережье, к морю. И, в-третьих, сегодня было воскресенье, выходной день (я специально выбрал для своего побега праздничный день), и, по моим расчетам, Мальвина и ее пока неведомая мне мама (об их папе в эти мгновения я решил не думать, запретил себе о нем думать) неразлучно сидят дома. Сходили к Куршскому заливу за сиренью (ее там видимо-невидимо, я заметил это еще прошлой осенью), поставили в вазы и теперь, любуясь букетами (белым и черным), либо пьют чай, либо читают вслух книгу про названного брата Мальвины, деревянного человечка Буратино.

Так оно и оказалось. Через несколько томительных (вечных для меня)

минут, наконец, за почему раздались легкие, стремительные шаги («бегающая по волнам», почему-то подумалось мне). Я замер и стал ожидать обязательного вопроса: «Кто там?!»

Но его не последовало. Дверь широко и бесстрашно распахнулась, и передо мной предстала молодая, ничуть не удивленная моему появлению женщина, примерно моего возраста. Была она не очень высокого роста, но какая-то поразительно гибкая и подвижная. Еще на первом мартовском солнце она успела загореть тем особым обветренно-коричневым (будто песчаным) загаром, которым только и можно загореть возле моря, причем не южного, чрезмерно изнеженного и разомлевшего под влажно-горячими ветрами, а сдержанного, северного или прибалтийского — и только в марте.

Бесстрашно открыв дверь незнакомому человеку, хозяйка дома и тут ни о чем меня не спросила, а лишь в упор глянула на незваного гостя, как бы сразу вызнав и определив, кто я, что я и зачем пришел сюда, такими голубыми и такими бездонно глубокими глазами, перед которыми пронзительно-синие глаза моей осенней попугачицы мгновенно померкли, потускнели, и я их навсегда забыл.

Первое, что мне захотелось сделать, так это немедленно, сейчас же повернуться и уйти, не сказав хозяйке дома ни единого слова, потому что нельзя было себе представить, как можно будет жить под одной крышей, под одним кровом с этой женщиной, с этими ее всезнающими глазами. Но я все-таки не ушел, а, собравшись с силами, произнес давно заготовленную фразу, которая прежде мне казалась такой простой и естественной, а теперь (произнесенная) прозвучала и неестественно, и непросто (поддельно даже), словно я что-то скрывал и не хотел сказать открывшей мне дверь женщине всю правду:

— Нельзя ли снять у вас на лето комнату?

Женщина еще раз посмотрела на меня, выведывая все остатки моих тайн и сокрытий, и, кажется, уже приготовилась произнести краткое свое непреклонное решение: «да» или «нет», но потом оглянулась назад в глубину дома, и сердце мое опять замерло. Я представил себе, что сейчас из темных его запутанных лабиринтов выйдет в белоснежном морском кителе с широкими золотыми шевронами на рукавах испытанный всеми океанскими ветрами, штормами и бурями капитан (а в том, что мужем такой женщины может быть только капитан, я в это мгновение не сомневался ни капли). Посмотрев на меня, сухопутного незадачливого путешественника, он снисходительно усмехнется в усы (ах, какие у него должны быть усы! смолянисто-черные, непробиваемо густые, а может, даже и борода, точь-в-точь, как у Эрнеста Хемингуэя) и скажет, оберегая свое жилище от вторжения, снисходительно и насмешливо:

— Ну, разве может быть у нас свободная комната?!

Но вместо грозного капитана с усами и бородой в коридор вприпрыжку вбежала, выпорхнула Мальвина. И я был спасен.

— А я тебя знаю! — скрывая все свои сомнения и страхи, сказал я. — Ты — Мальвина!

— Откуда вам известно, что она Мальвина? — словно подменяя где-то замешкавшегося капитана, улыбнулась хозяйка дома.

Но как улыбнулась?! Ни до, ни после я таких улыбок не видел: одними только уголками, кончиками обветренных губ — не улыбка, а всего лишь полуулыбка, треть улыбки или даже четверть. Так обыкновенные земные женщины не улыбаются. Так дарят, одаряют улыбкой только

женщины, живущие на берегу моря, среди высоких сыпучих дюн, на вершинах которых во время шторма и бури поют свои загадочные мелодии влажные янтарные пески. И, кроме этих женщин, никто их не понимает — и понять не может.

Ни до, ни после не слышал я и такого голоса: с глубоким грудным дыханием и вечной тревогой, тоже поющего и серебряно-звонкого, услышав который ты невольно вздрогнешь и никогда уже его не забудешь. Я действительно вздрогнул и, совершенно не помня, о чем спрашивает меня хозяйка дома, долго слушал, как ее голос несмолкаемо звучит у меня в ушах, то удаляясь к морю, к дюнам и корабельным, натянутым, будто струна, сонсам, то возвращается назад, тысячу раз повторенный эхом, чтоб звучать еще звонче и чище.

Наконец я отвел взгляд от лица хозяйки дома, отрешился от ее голоса и выдал свою тайну:

— Прошлой осенью я видел Мальвину и слышал, как вы зовете ее.

Хозяйка дома ничего на это мое признание не сказала, нисколько не заинтересовалась и не удивилась ему, а, прижав к себе Мальвину (словно этим образом посовещовалась с ней), вернулась к началу нашего разговора.

— Свободной комнаты у нас нет, — произнесла она опять с серебряным переливом. — Но есть свободная мансарда.

— Очень хорошо! — поспешно согласился я на мансарду, теперь уже и не помышляя о бегстве.

Впустив в коридор, хозяйка по крутой, отвесной почти лестнице повела меня наверх. Мальвина, пританцовывая и припрыгивая на каждой ступеньке, не шла, а летела, будто какой мотылек, порхала сзади нас.

Во всех бывших немецких домах мансарды похожи друг на друга. За годы своей службы, да уже и после я не раз и не два бывал на них у офицеров высшего начальственного состава, которые предпочитали казенным квартирам в многоэтажных домах-новостройках старинные немецкие особняки с добротными хозяйственными постройками во дворе: сараями, гаражами, погребам и образцово ухоженными яблонево-грушевыми садами на задах. На одной из таких мансард я еще на первом году службы перестилал, имея кое-какие плотничко-столярные навыки, полы по просьбе-приказанию только что заселившегося в дом нового начальника политотдела дивизии.

Как правило, мансарды были о трех окнах: два квадратных на усеченной стене выходили в палисадник на проезжую улицу, а одно (в коридоре) — прямоугольное — во двор и сад.

Сразу за дверью, с левой стороны, возвышалась обложенная кафелем печка-голландка. Обстановка и убранство на мансардах тоже мало чем отличались друг от друга. В простенке между окнами стоял старинный, немецкой работы письменный стол, возле глухой, самой высокой стены — кожаный диван или никелированная кровать, могло быть еще плетеное кресло-качалка, а рядом с ним какая-нибудь тумбочка. Все по-немецки прочно и расчетливо, ничего лишнего и случайного.

Мансарда, куда меня привели хозяйка дома и Мальвина, была точно такой же: печка-голландка, кожаный диван, письменный, затянутый зеленым сукном стол, тумбочка. И все же — не такой! Совсем не такой! Два окна ее выходили не на проезжую, вымощенную булыжником улицу, а на море. Под напором штормового ветра они скрипели и, как показалось мне, раскачивались вместе с домом, так похожим на корабль-парусник,

который неудержимо мчитсь по волнам, то взлетая на высокий их пенистый гребень, то проваливаясь в бездонную морскую пучину.

— Располагайтесь, — повелительно сказала хозяйка дома и хотела уже было уходить, но я, преодолевая всю свою робость и стеснительность, вдруг остановил ее:

— Нам, наверное, надо познакомиться.

— Наверное, надо, — тая в устах странную свою полуулыбку, сдержанно ответила та на неуклюжие мои слова.

— Меня зовут Николаем, — назвался я, опять обуреваемый сомнениями: протягивать ей руку или не протягивать, положено это делать или не положено при знакомстве с женщинами.

— А меня... — начала было хозяйка дома, но на минуту замешкалась и стала поправлять развязавшийся у Мальвины на косичке бантик.

Пока она перевязывала его и расправляла, чтобы он был похож на бутон цветка белой розы (нет, на бутон белой лилии), потому что роза очень колючая, и Мальвина может пораниться ее шипами, я почему-то подумал, что имя у этой необычной женщины тоже должно быть каким-нибудь необычным, Ассоль, например, или любое иное, гриновское, рассказами, повестями и романами которого мы тогда начинали зачитываться и часто не знали, кому отдать предпочтение — Александру Грину или Хемингуэю.

Но имя у нее оказалось самым обыкновенным, встречающимся на каждом шагу, хотя и библейским.

— ...Мария! — произнесла она его тоже совсем обыкновенно и буднично, но для меня в ее устах это имя прозвучало торжественно и возвышенно, отозвалось гулким эхом в полупустой комнате и заставило меня почему-то вздрогнуть. И уж совсем я пришел в смущение, когда Мария сама подала мне свою тонкую загорелую ладонь. Я ожидал, что рукопожатие ее будет слабым, едва заметным (а ладонь непременно холодной, озябшей), но Мария обманула меня: рука ее оказалась и сильной, и горячей, и легко умиряющей любое волнение.

Аве, Оза, —
Ночь или жилье,
Псы ли воют, слизывая слезы,
Слушаю дыхание твое,
Аве, Оза...

Я неожиданно вспомнил стихи Андрея Вознесенского, прошептал про себя, вставив вместо вымышленного имени Оза имя Марии, которое должно было там стоять и стояло всегда: Аве, Мария!..

Это были совсем иные слова и совсем иные стихи, их сочетание, несколько не похожие на те, что я произносил прошлой осенью возле студенческого костра на сон грядущий утомленной походом вдоль моря с пограничниками девчонке-попутчице. Она так и осталась в моей памяти всего лишь попутчицей. А здесь все было не так, все по-другому: Аве, Мария...

Ее ладонь из своей вмиг онемевшей (окаменевшей даже) ладони я выпустил с таким сожалением, как будто, едва успев ощутить, терял навсегда.

Стараясь как-то смягчить эту потерю, я перевел взгляд на Мальвину и с чрезмерным возбуждением спросил о ее странном имени:

— А Мальвину действительно зовут Мальвиной?

— Что вы! — прижала к себе дочь Мария. — Ее зовут Машей. Маль-

вину она сама придумала, чтоб не было между нами путаницы. Я и согласилась.

Из всего этого признания Марии меня больше всего поразило, что она сказала «Я», а не «Мы», то есть она с мужем или с кем-то еще, кто обитает в доме: с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой Мальвины, которые могли быть. Но она сказала «Я» и тем выдала, что никаких иных обитателей в доме нет и, главное, нет мужчины, ее мужа. Я это понял и почувствовал сразу, как только вошел в коридор. На старинной деревянной вешалке я не заметил никакой мужской одежды, а у подножья вешалки, на тумбочке-галошнице, не было ни мужских ботинок, ни сапог, ни расхожих домашних тапочек. Еще больше укрепило мое мнение в том, что мужчины в доме нет, когда я поднимался по лестнице на мансарду. Перила на ней были опасно расшатаны, а одна ступенька с левой глухой стороны держалась на честном слове. Починить и перила, и ступеньку в общем-то ничего не стоило: опору на перилах надо было снять и расклинить у основания, а ступеньку прижать гвоздями или заменить вовсе — похоже, она подгнила. Но заняться этим мелким обиходным ремонтом явно было некому...

На мансарде Мария не задержалась ни на минуту.

— Располагайтесь! — сказала она и, увлекая за собой Мальвину, легким шагом спустилась вниз.

Я стал располагаться. Небрежно бросив на диван рюкзак и дембельский чемодан, подошел к столу и широко распахнул выходящие в сторону моря окна. В комнату сразу ворвался влажный морской ветер, наполненный весенними запахами цветов, молодой травы, хвои и едва-едва распустившихся листьев. Море, до этого какое-то далекое и с трудом угадываемое по шуму прибоя, вдруг приблизилось и грозно зарокотало, как будто хотело выброситься на сушу, устав от постоянно терзающих его ураганов и штормов. И, наверное, выбросилось бы, если бы на его пути не встал кирпично-красный дом с высокой мансардой.

Соленые морские брызги, морось долетели до распахнутого окна и омыли мне запыленное лицо. Я пришел от их прикосновения в юношеский неописуемый восторг и решил тут же, немедленно, сесть за стол и начать писать свой до самых мелких деталей продуманный и осмысленный роман. (Так, наверное, перед открытым, выходящим на море и океан окном, писал рассказы и романы Эрнест Хемингуэй).

Достав из чемодана пачку бумаги, я разложил ее на зеленом сукне стола, вооружился специально заведенной для этого самопишущей дорогой ручкою и уже приготовился было вывести первую давно заготовленную фразу, как вдруг сквозь рокотание прибоя мне послышался какой-то странный, похожий на завывание сквозняка звук. Вначале я подумал, что это и на самом деле сквозняк, который образовался, когда я открыл на мансарде окна. Чтоб сквозняк прекратился и не мешал мне думать и сосредотачиваться, надо было поплотнее прихлопнуть входную дверь.

Я так и сделал. За увесистую медную ручку посильнее притворил дверь, потом обследовал, нет ли где у порога щелей, сквозь которые и свистит пронзительный, отвлекающий меня от работы ветер. Но щелей нигде не было: тяжелая наборная дверь по всем косякам и порогу прилегалась плотно, без единого зазора — все-таки она была сработана каким-то немецким педантичным мастером. Тогда я на всякий случай проверил еще и вьюшку на печке-голландке, хорошо помня по деревенскому своему детству, что ветер чаще всего как раз и завывает в трубе, если вьюшка или

чугунные парные кружки закрыты неплотно. Но никаких зазоров и щелей не обнаружил и на вьюшке.

Успокоенный, я вернулся назад к столу и замер над чистым, не тронутым еще ни единой буквой и помаркой листочком. Но как только я вознамерился написать первое слово, так тут же снова раздался пронзительно-острый, отвлекающий меня от сокровенных мыслей звук. Я попробовал закрыть окна, но звук этот проникал и сквозь закрытые окна, изводил и мучил меня. Я совсем раздосадовал, и не столько от самого звука, сколько от того, что никак не мог понять, откуда он исходит.

Я опять распахнул окна — звук усилился, и тогда я вдруг вспомнил все рассказы и легенды о дюнах, о поющих песках и сразу успокоился, не находя в их пении ничего для себя опасного и страшного. Пусть поют и воют, нагоняя тоску и уныние на людей малодушных и робких, а мне под их пение лишь будет лучше и отрадней работать, как отрадней было когда-то думать и мечтать о дальних странах на деревенской своей русской печке под завывание сухопутного ночного ветра в трубе.

Я подвинул поближе к себе листочек, размашисто написал в правом верхнем уголке свое имя и фамилию, потом высокими печатными буквами начертал название романа и занес уже ручку, чтоб как можно скорее записать первую фразу, а то вдруг она забудется или слова в ней перепутаются, поменяются местами, и смысл, тысячу раз повторенной этой моей фразы в уме, потеряется, станет совсем иным. Но в это мгновение входная дверь у меня за спиной широко распахнулась; листочек от порыва ветра предательски выскользнул из-под рук и закружился рядом со столом. С трудом догоняя его и удерживая, я оглянулся и увидел на пороге Мальвину.

— Мама зовет вас пить чай, — весело и задорно прокричала она и, не дожидаясь от меня ответа, стремглав побежала вниз.

Заходящее солнце, прорвавшись сквозь узенькое коридорное оконце, на долю секунды осветило ее заплетенные в косички волосы — и они мне опять показались голубыми, как у сказочной девочки Мальвины.

Уклониться от приглашения на чай мне было неудобно, некрасиво, хотя я и досадовал, что моя работа прервана в самом начале; вдохновение, еще по-настоящему не придя ко мне, погасло, и сегодня его, скорее всего, назад уже не вернешь.

Я спрятал листочек в ящик стола, решив, что начну работу завтра рано утром, с восходом солнца, и никто мне в ранние эти часы помешать не сможет. А сейчас — что же, деваться некуда, надо идти на чаепитие и познакомиться с приютившими меня хозяевами поближе.

Я достал из рюкзака бутылку сухого болгарского вина, которую купил еще в Калининграде, словно предвидя подобное знакомство и подобное чаепитие.

Стол был накрыт почти по-студенчески небогато, но с редким знанием сервировки, как умеют это делать только женщины, которым подобное знание и умение передалось по многолетней, а может, и многовековой семейной традиции. Похоже, в своих догадках я не ошибся: чашки, блюдечки и вся иная посуда на столе была тонкого, наверное, фамильного фарфора, к которым мне, привыкшему пить чай из солдатских эмалированных кружек, страшно было прикасаться.

Скрывая смущение и робость, я с деланной отвагой водрузил на стол бутылку вина и сказал, как привык говорить это в своих солдатских, студенческих или деревенских застольях:

— Гулять, так гулять!

К моему удивлению, Мария ничуть не смутилась такому началу нашего чаепития, как будто именно на него и рассчитывала и заранее была готова к моему нахальству.

— Ну, что ж, будем гулять! — опять едва заметно, в четверть улыбки, усмехнулась она.

Пока Мария ходила на кухню за высокими хрустальными бокалами и старинным латунным штопором, я оглядел комнату, пытаюсь найти в ней какие-нибудь признаки присутствия мужчины. Но ничего даже отдаленно намекавшего на то, что мужчина живет здесь постоянно или хотя бы бывает время от времени, не обнаружил. Точно так же, как и в коридоре, в комнате я не обнаружил ни единой мужской вещи: ни рубашки, ни костюма, ни, к примеру, капитанской курительной трубки, которая вполне могла бы лежать на подоконнике, прячась за цветочными вазами. На стенах не было ни единой мужской фотографии, что совсем уж показалось мне странным. Впрочем, нигде не заметил я и фотографий Марии — всюду одна только Мальвина, Мальвина и Мальвина.

Мне впору оставалось радоваться такому открытию, но я вдруг испугался его. Если бы в доме был или предполагался быть мужчина (пусть он сейчас в отдалении, в отъезде, но он есть), я бы чувствовал себя гораздо спокойней и уверенней: он надежно защищал бы меня от необдуманных слов, неосторожных взглядов и неверных легкомысленных поступков. Но мужчины, увы, не было.

Бутылку я откупорил не очень умело, еще более неумело разлил вино по бокалам, обронив несколько капель на белоснежную скатерть.

Подняв свой бокал за высокую хрупкую ножку, я на правах мужчины, гостя и постояльца приготовился говорить тост, хотя, может быть, его полагалось бы произнести как раз хозяйке дома, а еще лучше бы хозяину. Но всех этих тонкостей этикета я не знал, не был им обучен и, пренебрегая ими, сказал, как умел — и опять, кажется, невпопад, по-солдатски и по-деревенски грубо:

— За встречу!

Мария минуту помедлила, а потом, порывисто прикасаясь к моему почему-то суетно вздрагивающему бокалу своим звонким и непоколебимо устойчивым, осторожно, но настойчиво поправила:

— За знакомство!

Стыдясь своей деревенско-солдатской грубости, я поспешно согласился с ее поправкой. Действительно, какая неодолимая разница была между этими нашими тостами: «За встречу!» и «За знакомство!» Встреча, всегда нетерпеливо ожидаемая и желанная (я по простоте и недомыслию сразу и выдал это свое желание), а знакомство может быть вполне случайным, мимолетным и ни к чему не обязывающим.

От волнения, что допустил такую оплошность, я едва не выронил бокал. Выручила меня опять Мальвина. Она поочередно чокнулась со мной и Марией маленькой свой фарфоровой чашечкой, наполненной чаем, и вдруг по-детски пронзительно и звонко сказала, наверно, где-то раньше подслушав у взрослых самый простой, обязательный в любом застолье тост:

— За здоровье!

Мы оба, я и Мария, невольно улыбнулись ее словам, сразу сгладившим все наши иносказания, и выпили до дна сухое болгарское вино, пахнущее виноградом, солнцем и далеким Черным морем. По этикету, по

застольному строгому правилу, пить вино до дна, до самого доньшка, наверное, не полагалось, но мы по-молодому выпили его до дна, и мне это очень понравилось.

Мальвина точно так же выпила весь свой чай и, изображая усталость, откинулась на спинку стула. Мария поправила на ее платье подвернувшийся воротничок, а я вдруг засовестился перед своей спасительницей. Как же это так, собираясь сюда, на Куршскую косу, и зная, что в приглянувшемся мне домике живет девочка Мальвина, я не купил и не привез ей никакого подарка. Сейчас в этом виниться, конечно, не надо: смутятся и Мария, и Мальвина, но в ближайшие дни я свою ошибку исправлю, специально съезжу в Зеленоградск или даже в Калининград и куплю Мальвине самый дорогой подарок, перед этим выведав, что ей больше всего на свете нравится.

Белое болгарское вино было совсем слабым, но я все равно от него чуть-чуть захмелел, почувствовал себя свободней и раскованней и через несколько мгновений, услышав, как и сюда, в комнату, доносится сквозь открытое окно поюще-пронзительный звук, спросил Марию:

— Это поют пески?

— Что вы! — искренне удивилась она моему неведению. — Это у нас на крыше установлен флюгер, он и беснуется (так и сказала с некоторым даже раздражением — «беснуется») во время ветра. Пески поют совсем не так. Их надо слушать на дюнах и лучше всего на Королевской.

— А вы сводите меня туда как-нибудь? — опять с недопустимым нахальством спросил я.

Мария снова немного помолчала, налила мне полную чашку горячего черно-густого чая и лишь после этого сказала неопределенно и уклончиво:

— Как-нибудь свожу...

Из этих ее уклончивых слов трудно было понять, действительно она сводит меня на дюны или завтра же забудет о своем обещании.

Низко склонившись над чашкой, я никак не мог придумать, о чем бы еще спросить Марию, как продолжить разговор дальше. Надежды на то, что она продолжит его сама, у меня никакой не было. Мария сосредоточенно пила чай и, кажется, совершенно запамятовав обо мне, уже томилась моим присутствием. Мне впору было рассердиться на нее: если запамятовала, если томится, то зачем звала?! Я бы сейчас сидел у себя на мансарде за письменным, так понравившемся мне столом и вдохновенно писал бы уже не первую и даже не вторую и не третью, а может быть, пятую или десятую страницу романа, и ничто бы не смогло мне помешать: ни беснующийся флюгер на крыше дома, ни поющие пески, ни рокочущее шумный морской прибой.

Но она зачем-то позвала. Пусть ради только одной вежливости и гостеприимства, это совершенно неважно — главное, что позвала.

Украдкой я посмотрел на смугло-загорелое отрешенное лицо Марии, и мне показалось, что она в эти минуты была не здесь, не за чайным столом, рядом с незнакомым и посторонним человеком, а где-то очень далеко, но где и с кем, о том знать никому не позволено.

— Вы давно здесь живете? — наконец все-таки нарушил я томительное молчание и вернул Марию назад в дом, к себе.

— Я здесь, считай, родилась, — вздрогнула она от моего излишне громкого голоса и действительно торопливо и послушно вернулась назад.

— А родители ваши живы? — не совсем понял я это ее «считай».

— Нет, они погубили, — чутко уловила Мария мои сомнения. — Я детдомовка. А ваши?

— Отец погиб, а мать жива, — почувствовал я перед ней свою невольную вину: Мария круглая сирота, а я всего наполовину, рос и воспитывался при матери и бабушке. О детдомах я слышал лишь вскользь и очень боялся их — там все люди чужие и, как мне казалось, очень недобрые.

Отодвинув чашку, я хотел переменить трудный наш, не ко времени затеянный мной разговор и задать гостеприимной хозяйке совсем иной, более веселый и легкий вопрос, но Мария вдруг опередила меня.

— А вы, наверное, родились в России? — спросила она с какой-то странной ноткой зависти (а может, вовсе и не зависти) в голосе.

— В России! — с гордостью ответил я. — Вернее, на Украине.

— Ну, это все равно, — вздохнула она, и нотка зависти в ее голосе как будто пропала.

Мальвина, мало чего понимая в нашем разговоре, прилежно сидела за столом, подперев двумя ладошками голову. Но как хорошо, что она сидела, а не убежала куда-нибудь гулять, оставив нас с Марией одних. Я бы тогда совсем растерялся и не знал, как вести себя дальше, о чем еще и как говорить.

— А я в России не была ни разу, — вдруг призналась мне (и как удивила меня) Мария.

— Совсем не были?! — не в силах и не сразу смог поверить этому ее признанию я.

— Совсем не была, — улыбнулась она в ответ на мое удивление и опять замолчала.

— Я свожу вас туда! — вспыхнул я и загорелся желанием исправить это ее упущение. — Вы поедете?!

— Если повезете, — вполне серьезно сказала она.

Я сразу представил себе, как мы едем с Марией в поезде, как пьем чай в уютном затененном купе, как, почти соприкасаясь лицами, смотрим в окошко на мелькающие мимо большие и малые города, деревни и села, бескрайние (до самого горизонта) поля, озера и реки, леса и перелески. Общаюсь с Марией, конечно же, уже на «ты», я рассказываю и рассказываю ей о России, а она все слушает меня и слушает и тоже говорит «ты».

И я действительно начал рассказывать Марии о России, но почему-то не обо всей сразу, а только о своей деревне, о своем доме с глиняным полом, приземистыми окошками, завалинкой и громадной русской печкой с примыкающей к ней продольной лежанкой, возле которой так хорошо сидеть зимними холодными вечерами. А еще я рассказывал Марии о своей маленькой, но быстротечной речке, о ее заливных правобережных лугах-займищах, о березняках и ольшаниках, где мы когда-то в детстве так любили играть в войну, о картофельных и ржаных (житных) полях, одинаково прекрасных, что в раннюю пору цветения и выбрасывания колоса, что в зрелую уже, предосеннюю, когда колос налит и с каждым днем все твердеет и твердеет, а картофель буйно завязался и растет в глубине земли не по дням, а по часам. Отдельно (и по-особому доверительно) хотелось мне рассказать Марии о небольших прибрежных низинках, влажных впадинках, засеянных льном. Поздно вечером, уже почти в сумерках, ярко-голубые его цветочки широко раскрываются (и надо поскорее увидеть это и насмотреться на них!), а рано поутру, когда едва блеснут первые лучи солнца, они плотно-наплотно закрываются, чтоб никому не выдать тайну своего цветения. Но я немного помедлил и не расска-

зал об этом Марии, потому что всего рассказать о России все равно нельзя: ее надо самому увидеть.

Я ожидал и надеялся, что Мария тоже что-либо поведаст о себе, о своем детстве, о своей жизни здесь, вдалеке от России и Украины. Но она ничего не говорила, а лишь пила, уже не чокаясь, вино да смотрела (намеренно или не намеренно) мимо меня, в окошко то на букеты черной и белой сирени, то еще дальше в непроглядную темноту надвигающейся ночи.

Мне, наверное, надо было вежливо попрощаться, поблагодарить за угощение и уйти. Для первого раза, для знакомства вполне хватит, а что будет завтра, послезавтра или через неделю, о том лучше не загадывать.

Но уходить мне так не хотелось. Не хотелось этого и Мальвине. Еще тверже подперев ладошками подбородок, она готова была слушать меня хоть всю ночь, принимая мои рассказы за настоящую сказку. Да они, в сущности, такими и были.

Я остался, но, разочаровывая Мальвину, сидел молча (все вроде бы было уже сказано) и, тоже в одиночку, будто украдкой пил вино. Так прошло минут пять-шесть, показавшихся мне целой вечностью. У Мальвины уже начали слипаться глаза. И тогда я, отдаляя расставание, осмелел и задал Марии вполне естественный при знакомстве вопрос:

— А вы где работаете?

— В Зеленоградске, в библиотеке, — ответила Мария, легко оторвавшись от созерцания цветов и ночной темноты.

— А с кем же тогда остается Мальвина? — допытывался я дальше.

— Ни с кем не остается, — еще легче разгадала Мария весь незамысловатый подтекст моих вопросов. — Мы ездим с ней на велосипеде в Зеленоградск, и, пока я работаю, Мальвина играет во дворе библиотеки.

— А в другой раз, — преодолевая свою дрему, неожиданно вмешалась в наш разговор Мальвина, — я хожу к бабе Насте.

— А кто такая баба Настя? — спросил я сразу обеих своих собеседниц, надеясь услышать в ответ, что это их родная бабушка (по отцу или по матери). Но услышал совсем иное.

— Это моя давняя знакомая, — словно укоряя меня за назойливость, с небольшим нажимом ответила Мария. — Мы с ней дружим. Она живет здесь с самой войны.

Такого пояснения о бабушке, бабе Насте, Мальвине показалось мало, и она, будто связывая узелок за узелком тоненькую ниточку-паутинку, которая протянулась между мной и Марией, сказала о ней самое главное и важное для себя:

— У бабы Насти есть большая собака и куры.

Мы с Марией не выдержали и невольно рассмеялись этому ее серьезному и обстоятельному рассказу, и ниточка между нами, как мне показалось, упрочилась и уже не грозилась порваться от случайного порыва ночного ветра.

Вот теперь мне уже точно можно было (и надо было) уходить. И я, пожелав хозяйкам дома спокойной ночи, действительно ушел к себе наверх, хотя в тайне и надеялся, что они меня еще на полчаса, а то и на целый час задержат.

Спать мне не хотелось, не хотелось ничего мне писать, ни читать, не хотелось даже думать. Я долго сидел возле открытого окошка, слушал монотонный шум прибоя, скрип расшатавшейся рамы, веселое пение на крыше дома беспокойного флюгера, и было мне в тот вечер и в ту ночь так хорошо, как никогда прежде...

Проснулся я спозаранку, сделал ободряющую армейскую зарядку, попил чаю, приготовив его тоже сугубо армейским испытанным способом и приспособлением — самодельным кипятильником из двух лезвий от безопасной бритвы. С моря дул свежий влажно-упругий ветер, доносился едва слышимый шум прибоя, на крыше волновался, лопотал флюгер — все располагало и побуждало к работе. Вдохновение кружило и туманило мне голову. Я уселся за стол и, священнодействуя, заново разложил листочки: чистые — высокой стопочкой с правой стороны, а озаглавленный вечером — чуть наискосок, по-школьному, прямо перед собой и, вспоминая слово за словом первую фразу романа, начал выводить ее по возможности ровным и разборчивым почерком. В это столь раннее, томительно-теплое, начавшее разгораться утро ничто, казалось бы, не могло мешать мне, не могло и не смело отвлечь от работы, вспугнуть вдохновение, все больше и больше овладевавшее мною.

Так бы оно, скорее всего, и случилось, если бы я, написав первую фразу, не задумался над второй и в этой напряженной задумчивости не взглянул в просторно открытое окно. И в одну минуту все вдохновение мое погасло, разрушилось и отлетело, гонимое ветром в высокое безоблачно-синее небо, а вместо него вспыхнули во мне вначале тревожно-холодный озноб, а потом испепеляюще-жаркий огонь. Вдоль морского прибоя, глубоко проваливаясь босыми ногами в морской песок, шла Мария. Я сразу догадался, что она ищет и собирает при первых лучах восходящего солнца янтарные искрящиеся камушки. Мария часто наклонялась к песчаному наплыву, разгребала случайно подобранной палочкой прибрежную гальку и вдруг надолго замирала, разглядывая на ладонке найденный камушек. Подол ее длинного бледно-сиреневого платья окунался в воду, намокал и становился по-ночному темным и, наверное, тяжелым. Но Мария не замечала этого, была равнодушна и к темноте, и к тяжести, вся поглощенная и сосредоточенная на разглядывании и узнавании камушка. По крайней мере, мне так казалось издалека, из открытого, распахнутого настаежь окошка.

Отложив в сторону листочек и ручку, я тоже долго и сосредоточенно следил за ней, словно заново узнавая Марию, но потом вдруг засовестился своего подглядывания, закрыл окно и резким движением задернул штору. На мансарде сразу стало душно и пыльно, как будто в нее ворвался суховейный смерч и всю засыпал раскаленным песком южной африканской пустыни...

Осторожно ступая по скрипучим ступенькам лестницы, чтоб не разбудить Мальвину, которая, судя по всему, еще спала, я спустился вниз, несколько минут постоял у подъезда в сомнении, идти дальше или, может быть, лучше не идти, не обнаруживать себя, а повернуть назад — и все-таки преодолел свою нерешительность и пошел к морю, к Марии.

— Доброе утро! — неестественно бодрым голосом поздоровался я с ней, делая вид, что оказался здесь, у моря, совершенно случайно.

— Доброе утро! — ответила Мария, кажется, ничуть не удивившись этой моей случайности.

О чем еще говорить, я не знал, заранее не придумал ни на мансарде, тайно наблюдая из окна за Марией, ни на лестнице, ни позже, когда почти бежал к Марии по холодному влажному песку. Но говорить что-то надо было, иначе, зачем и бежал...

— Вы почему не спите? — спросил я первое, что пришло мне в голову.

— Я по утрам собираю янтарь! — с улыбкой простила она мне мою невоспитанность. — А почему не спите вы?

Застигнутый врасплох, я оказался совершенно не готовым к такому вопросу, растерялся и стоял перед ней, словно провинившийся школьник перед учительницей. Сказать Марии всю правду и признаться в том, что я поднялся в такую рань, чтоб писать роман, у меня не хватило мужества. В эти мгновения все мое сочинительство показалось мне пустым и ничтожным занятием, которому я самонадеянно предался, воображая себя писателем. А на самом деле никакого писательского таланта у меня нет, и вскоре я брошу все эти глупости, окончу педагогический институт и уеду по направлению в какую-нибудь сельскую школу, чтоб преподавать там русский язык и литературу, как это делают сотни и тысячи моих сверстников.

Но, наконец, я все-таки нашелся и обманул Марию:

— Меня разбудил флюгер!

— Ничего, привыкнете, — уже без всякой улыбки, вполне серьезно успокоила она меня и опять начала ворошить палочкой гальку.

Закатав повыше штанины брюк, я тоже зашел в воду и принялся внимательно наблюдать за поиском Марии. Но на этот раз она ошиблась, и янтарно блеснувшая под лучами солнца крупинка оказалась обыкновенным камушком-песковиком. Мария оттолкнула его палочкой, нисколько не огорчившись своей неудаче. Я самовольным, непрошеным соглада-таем пристроился рядом с ней, стараясь, правда, ничем не мешать Марии и идти чуть в стороне и позади.

Ни о чем больше спрашивать Марию я не осмелился, боясь опять попасть впросак, огорчить и ее, и себя. Да никакой надобности у нас в разговоре и не было: Мария сосредоточенно и внимательно искала янтарь, а я делал вид, что обучаюсь у нее этому искусству.

Так, шаг за шагом, мы и шли с Марией вдоль побережья, вроде бы и рядом, вроде бы и вместе, но в то же время и совершенно отдельно, порознь, каждый сам по себе. Заново обнаружили мы друг друга лишь у подножья первой попавшейся нам на пути невысокой дюны.

Вблизи, всего с расстояния в несколько метров, я видел дюну впервые. Она показалась мне очень похожей на песчаный курган у нас, в селе, образовавшийся, по преданиям, на месте древнего монастыря. Отличалась она от кургана лишь тем, что заросла не полынью, не хворощью и вездесущим дурнишником, а какими-то серо-зелеными широколиственными и колючими растениями, которые, наверное, только и могут расти на песчаных дюнах возле моря. Было и еще одно, тоже, несомненно, морское отличие. На склоне, обращенном в сторону моря, песок лежал не сплошным покровом, а неширокими ступенчатыми наплывами, напоминавшими крутую лестницу. Образовалась она, должно быть, под напором штормового, ураганного ветра, долетавшего сюда с Северного моря и Атлантического океана.

Мне захотелось тут же подняться на вершину дюны и посмотреть с высоты вначале на тихий Куршский залив, а потом на янтарно-темное, даже в эти ранние часы вздымающееся тяжелыми волнами и пенными кружевными бурунами на гребнях, море.

Точно так же я поднимался давным-давно, в детстве, на монастырский наш курган, смотрел, заслоняясь от солнца ладошкой, вначале на утопающее в садах и раскидистых осокорях село, а потом поворачивался лицом к реке, на берегу которой когда-то и был построен Богородицкий

мужской монастырь, и смотрел на заливные равнинные луга, заросшие до самого горизонта густой некошеной травой. Мне хотелось заглянуть и дальше, за горизонт, но его застил далекий Милоградовский лес, во всем таинственный и недоступный для меня, совсем еще мальчишки.

Мне все это наяву представилось и вспомнилось, и я действительно вознамерился сейчас же, немедленно, подняться на дюну, с вершины которой заглянуть за горизонт ничего не стоит.

Но Мария, догадавшись о моих намерениях, вдруг остановила меня, уже шагнувшего было на первую ступеньку дюны. Из накладного кармана платья она достала целую горсточку янтарных камушков, выбрала один, самый крупный, с застывшей внутри, может быть, тысячу лет тому назад мушкой и протянула мне:

— Возьмите на память. Он приносит счастье.

— А не жалко? — суеверно попробовал отказаться я от подарка.

— Нет, не жалко, — беспечно ответила Мария. — Берите, пока не передумала. У меня счастья через край.

По этим ее лишь внешне беспечным словам я понял, что как раз счастья у Марии и нет или было, но очень давно. Так давно, что она о нем уже забыла. Но, возможно, я и ошибался, ведь Марии всего двадцать два — двадцать три года, и все счастье у нее еще впереди. По крайней мере, о себе я именно так и думал. Самое трудное испытание — армия — у меня уже в прошлом, а в будущем — веселая студенческая пора, беззаботная жизнь в общезитии, походы во главе с каким-нибудь молодым аспирантом в окрестные леса, костры на берегу реки, тревожно беспокоящие душу песни под гитару:

Ах, какие удивительные ночи...

Принимая дорогой подарок, я хотел было сказать Марии что-нибудь успокоительное насчет счастья и будущего или хотя бы пообещать, что с таким драгоценным подарком-талисманом я непременно буду счастлив. Но Мария не позволила мне больше произнести ни единого слова. Она запрокинула голову, вприщур посмотрела на солнце и, только по одной ей известной примете точно определив, который теперь час, сказала:

— Нам пора. Мальвина уже проснулась.

* * *

Назад мы шли скорым, поспешным шагом, нигде не останавливаясь и не задерживаясь, хотя мне несколько раз казалось, что вон там и там, в россыпи песка и гальки, таится крупный янтарь — самый счастливый из всех, которые когда-нибудь и кто-нибудь находил. Но задерживать Марию я не посмел и, тяжело дыша, словно во время армейского десятикилометрового марш-броска с полной выкладкой, шел рядом, лишь изредка позволяя себе посмотреть, как наши тени под лучами солнца переплетаются на прибрежном песке...

В подъезде Мария попрощалась со мной без прежней отверженности, которая мне послышалась в ее голосе возле дюны, а непринужденно и буднично, хотя я и уловил (или мне так показалось), что будничность эта какая-то нарочитая:

— Не скучайте! Мы вернемся после семи.

— Постараюсь! — тоже с нарочитой бодростью ответил я, уже начав скучать сейчас же, вот в это мгновение, еще не расставшись с Марией.

Я поднялся по лестнице наверх, но сразу в комнату не пошел, а встал в коридорчике возле окошка, которое выходило во двор, в надежде еще раз увидеть Марию.

И вскоре действительно увидел ее. Минут через пятнадцать-двадцать она вышла во двор вместе с принаряженной и озорно подпрыгивающей с одной ножки на другую Мальвиной. Из кирпичного, по-готически островерхого сарайчика они выкатили сияющий черным лаком давнего немецкого производства велосипед.

Такие пугающе-черные трофейные велосипеды, все искореженные и поломанные, я хорошо помнил по своему послевоенному детству. Их побросали в сорок третьем году отступающие немецкие войска в непроходимых наших лесах и чащах, на полевых песчаных дорогах, в торфяных болотных лугах, где не то, что на велосипеде, но и пешим порядком пробраться не так-то просто. Два или три велосипеда ребята постарше кое-как собрали и на зависть нам, едва-едва начавшим ходить и разговаривать малышам, носились на них по деревенским улицам. Но здесь, в Восточной Пруссии, велосипеды эти были не трофейными, а природно-своими, и чернота их не казалась столь пугающей и отталкивающей.

Мальвина легко и привычно, с небольшой лишь поддержкой Марии взобралась на раму, и они покатали в сторону Зеленоградска по самой кромке еще влажного и пустынного шоссе.

Я следил за отважными велосипедистами, сколько можно было следить, пока они не скрылись за поворотом и не растаяли в неожиданно повисшем над шоссе туманом. Мне невольно вспомнился мой родной, изготовленный на минском заводе дорожный велосипед нежно-зеленого, словно первая майская зелень, цвета, с голосистым звончком на руле. Будь он теперь со мной, я бы, ни минуты не раздумывая, вскочил на него и помчался вслед за Марией и Мальвиной, чтоб сопровождать их до самого Зеленоградска-Кранца. Но мой выдавший виды велосипед стоял сейчас далеко в России, у меня в доме, в дровяном сарае или в повети, заботливо прикрытый матерью попоною, и терпеливо дожидался своего хозяина в полном одиночестве и забвении.

Проводив Марию с Мальвиной последним прощальным взглядом, я вошел, наконец, в комнату, подобрал разбросанные ветром по всему полу злополучные свои листочки, положил на подоконнике подаренный Марией «счастливый» камушек и попробовал опять настроиться на работу. Но у меня ничего не получалось, хотя я и старался с предельным вниманием сосредоточиться на очередной фразе, по нескольку раз перечитывал предыдущую, менял в ней слова местами, находил новые, которые казались мне гораздо лучше написанных прежде. Вдохновение как будто уже и вернулось ко мне, привычно окутало теплом и жаром голову, и все-таки я не мог продвинуться в работе ни на шаг. Что-то мне упрямо мешало, удерживало и мысли, и руку. Поначалу я думал, что это шум прибора, лопотание флюгера на крыше или монотонное гудение пронесившихся по шоссе машин. Точно так же, как и вчера, я поплотнее закрыл окно, но затворничество это мне ничуть не помогло. Шума прибора, посвистывания флюгера и гудение машин теперь было почти не слышно, но работа у меня по-прежнему не ладилась: слова либо не находились вовсе, либо находились, но совсем не те, которые были мне нужны и которые я чувствовал в воспаленной своей голове. И вдруг я понял, в чем тут дело, что мне мешает и не дает по-насто-

ящему сосредоточиться. Взгляд мой упал на подарок Марии — янтарь, и я безошибочно определил — он всему вина и помеха. Я спрятал камушек в ящичек стола, но получилось еще хуже. Из темноты и заточения он будто обжигал меня невидимыми своими лучами, манил к себе, просился в руки. Впору было взять его и с отчаяния выбросить назад в море. Я с трудом удержался от необдуманного этого поступка (как после и чем оправдаюсь перед Марией?!), но работу оставил, резко смел со стола все листочки и едва не изорвал их на мелкие клочки...

* * *

Делать мне было совершенно нечего, и я решил обследовать ближайшие к дому окрестности и, если повезет, запастись провиантом в каком-нибудь магазинчике. Закрыв дверь на ключ и запрятав его в потаенном месте, которое мне еще вчера вечером показала Мария, я пошел вверх по шоссе в сторону Ниды. И, оказалось, не зря. Километра через полтора вдруг обнаружился небольшой, судя по всему, рыбацкий поселок, теснившийся на берегу Куршского залива. Был он совсем крохотным, всего на пять-шесть домов, но в самом крайнем из них располагался продуктово-хозяйственный магазинчик. Я вошел в него и первым делом, сам не зная почему (может, с досады за напрасно потерянное утро), купил бутылку вина, граненый стакан и матерчатую сумку и лишь потом кое-что из провианта: буханку хлеба, полкилограмма дорогой «краковской» колбасы, банку прибалтийских шпрот, а для лакомства триста граммов любимых своих глазированных пряников.

Погрузив припасы в сумку, я опять пошел вверх по шоссе, надеясь отыскать и увидеть еще что-нибудь примечательное: островки «танцующего» леса, родниковое озерцо или по-тевтонски прочный прусско-королевский замок. Они, говорят, здесь встречаются часто. Но вместо всего этого я вдруг увидел с левой стороны шоссе ту самую дюну, у подножья которой мы с Марией стояли утром вдвоем и где она подарила мне на счастье янтарь.

Недолго думая, я свернул к ней и по зыбкому, постоянно осыпающемуся под ногами песку начал взбираться на вершину. Казалось, она была совсем рядом (рукой можно дотянуться), но достигнуть ее с набега и наскока на одном дыхании мне не удалось. Несколько раз я останавливался, успокаивал бьющееся частыми гулками толчками сердце, ругал себя за непредусмотрительность: надо было отыскать у подножья какую-нибудь выброшенную морем корягу-посох (в прошлом году студенты вооружались ими не зря) и лишь после этого, опираясь на нее, затевать восхождение, уподобившись пилигриму и паломнику. Я стал оглядываться по сторонам, нет ли где на многоступенчатом склоне если не посоха, то хотя бы самой обыкновенной палочки (все было бы легче одолевать крутой подъем). Но вокруг было пустынно и голо, лишь в двух-трех местах позванивали на ветру ядовито-зеленые, похожие на кактусы растения с острыми колючками на листьях. Угрюмым, бесприютным видом они нагоняли тоску и уныние, а мне и без того было невесело. Я едва не повернул назад, чтоб укрыться в доме, который был хорошо виден отсюда, с высоты, и завалиться там спать. Но минуту спустя, я все-таки усовестился своей слабости и малодушия, переложил сумку из руки в руку и с новой отвагой принялся карабкаться вверх. Дыхание у меня постепенно наладилось, выровнялось (опять же, как во время десятикилометрового марш-

броска, когда на смену первому, хлипкому и неустойчивому, дыханию приходит второе, размеренное и глубоко-сильное), и я одолел оставшуюся часть подъема всего лишь с одной коротенькой остановкой.

Зато какие просторы и дали открылись мне с зыбкой вершины дюны! Морской горизонт действительно раздвинулся, и мне показалось, что на самом сгибе его играет на утреннем солнце белый, туго натянутый парус, хотя это могла быть и пенисто-кружевная пена на гребне крутой высокой волны. Но я решил, что это парус, и долго следил, как он то исчезает, то вновь появляется за чертой горизонта.

Потом я повернулся в другую сторону и так же долго и неотрывно следил за утренней пробуждающейся жизнью на тихом Куршском заливе. В нескольких местах заметил рыбацкие сине-голубые лодки и самих рыбаков с удочками, спиннингами и еще какими-то неведомыми мне да и плохо различимыми отсюда, издалека, снастями в руках. Мне захотелось, обнаружив себя, прокричать рыбакам что-нибудь веселое и озорное, чтоб они отвлеклись от своей унылой и, возможно, неудачной сегодня рыбалки, тоже развеселились и бросили ненадежные свои, обманувшие все их ожидания удочки. Я сложил руки рупором, набрал полную грудь воздуха, приподнялся на цыпочках и собрался уже было кричать, но вовремя спохватился: далекого моего крика рыбаки, скорее всего, не услышат, а если и услышат, то вдруг подумают, что со мной случилась какая-нибудь беда и я зову их на помощь.

А со мной никакой беды не случилось. Просто мне хорошо и весело на вершине песчаной дюны. Помощь, конечно, нужна (очень нужна!), но только не их, мужская и рыбацкая...

А коль мне вдруг сделалось так хорошо и весело, коль я достоверно знаю, чья и откуда придет помощь (поздно вечером, после семи часов), то надо мне поскорее устроить праздник в честь покорения первой в моей жизни дюны.

Я разложил на сумке все свои припасы, открыл ножиком-складеньком, который с детских лет всегда ношу в кармане (как деревенскому мальчишке-следопыту без перочинного ножика?!), бутылку вина, консервы, нарезал вдосталь колбасы и хлеба. Потом налил полный стакан янтарно-чистого вина, поднял его высоко в руке и прокричал в сторону моря:

— С тобой обняться был бы рад!

Море откликнулось на мой призыв глубинным устрашающим рокотом, вспенилось девятым, а может, и десятым валом и выплеснулось на берег такой могучей волной, что на вершине притихшей и затаившейся дюны задрожали и пали ниц колючие песчаные растения.

В гордом восторженном одиночестве я пировал долго и счастливо. Много раз кричал еще что-то морю и его грозному повелителю Посейдону, читал стихи — и свои собственные, и чужие — и нескрываяемо радовался, что никого сейчас рядом со мной нет.

Но потом, как это часто и бывает после неумемного веселья, мной овладела юношеская необъяснимая грусть. Я оставил свои будоражащие крики, перепалку с морем и Посейдоном и, отрешившись от всего земного и водного, упал ничком на песок и стал слушать его загадочное пение. Я прижимался к песку разгоряченной головой и грудью, и мгновениями мне казалось, что я действительно слышу какие-то звуки и мелодии и почти понимаю их. Но они тут же и уходили от меня, ускользали, непонятые и неразгаданные, и я слышал лишь тревожные крики чаек над морем.

Не веря этому, я поворачивался на спину, запрокидывал руки за го-

лову и опять напряженно слушал то в полной темноте, закрыв глаза, то, наоборот, широко открыв их, чтоб неотрывно смотреть в высокое синелазурное небо, куда, наверное, и улетают все будоражащие меня звуки. Но и лежа навзничь, на спине, ничего кроме надоедливого крика чаек и шума прибоя не слышал...

Вконец измучившись, я допил остатки вина, собрал пиршеский свой стол и берегом моря пошел к дому. В нескольких шагах от дюны мне, наконец, попался настоящий подорожный посох, неодолимо крепкий, сиренево-сизый и немного шершавый от пропитавшей его морской соли. Я поднял посох и, опираясь на него, зашагал быстрее. На дюну я ни разу не оглянулся, но все время чувствовал нависшую у себя за плечами и готовую раздавить меня ее громаду, постоянно думал о ней, о ее поющих песках: либо мне не дано услышать их и понять, либо это лишь легенда, а на самом деле ни о чем вечно влажные эти просоленные пески не поют и не могут петь...

* * *

Дома я плотно затворился на мансарде и долго лежал на диване, стараясь уснуть, чтоб поскорее прошло время и настал долгожданный вечер — семь часов. Но уснуть мне так и не удалось, и тогда я, бодрясь и заново обретая жизнь, достал из дембельского чемоданчика томик Хемингуэя и стал читать любимый своей рассказ «Старик и море»:

«Старик рыбачил один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже восемьдесят четыре дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые сорок дней с ним был мальчик. Но день за днем не приносил улова, и родители сказали мальчику, что старик теперь уже явно *salao*, то есть самый что ни на есть «невезучий», и велели ходить в море на другой лодке, которая действительно привезла три хороших рыбы в первую же неделю. Мальчику тяжело было смотреть, как старик каждый день возвращается ни с чем, и он выходил на берег, чтоб помочь ему отнести домой снасти или багор, гарпун и обернутый вокруг мачты парус. Парус был весь в заплатках из мешковины и, свернутый, напоминал знамя наголову разбитого полка...»

И чем больше я читал, тем больше мне хотелось, выпросив у рыбаков лодку, уйти в море и обязательно поймать громадную рыбу-меч. От меня бы она ни за что не ушла: я молод, натренирован и закален за три года армейской службы, не то, что старый немощный старик. Сколько бы рыба ни вырывалась, сколько бы ни таскала лодку по морю, а все равно не вырвалась бы, и я к вечеру, отбившись от всех акул, укротил бы ее и привез домой, чтоб обрадовать Марию и Мальвину богатым уловом и добычей. С этими, считай, уже осуществленными надеждами я, в конце концов, уснул на диване и беспробудно проспал и весь вечер, не слыша, как вернулись Мария с Мальвиной, и всю штормовую, неожиданно холодную ночь. И ничего мне в этой ночи не снилось... (А старику из рассказа Хемингуэя почему-то снились львы).

* * *

На следующее утро повторилось то же самое. Мы гуляли с Марией вдоль побережья, собирали влажный янтарь (я наловчился и уже почти без помощи Марии нашел несколько крупинок, похожих на запекшиеся на солнце капельки сосновой смолы-живицы), и, сосредоточенные этими

поисками, суеверно молчали. Вернее, молчала Мария, а я говорил восторженно и недопустимо много (это мне только казалось, что я так же, как и Мария, молчу), все рассказывал и рассказывал ей о своем селе, куда мы обязательно съездим. Там тоже очень хорошо гулять на ранней, утренней заре возле речного берега, смотреть и слушать, как носятся над водой речные ласточки-касатки и речные чайки-крачки с сабельно-острыми крыльями, как прямо у тебя под ногами безбоязненно ходят сиренево-сизые трясогузки-плиски и длинноногие кулички, а высоко в небе охранно парит гордый и неприступный аист...

Ничего не изменилось ни на третий, ни на четвертый день. В девятом часу Мария с Мальвиной уезжали в Зеленоградск, а я оставался один в своей высокой, нависшей над морем мансарде. Сидеть за столом и томиться над очередной фразой романа я даже не думал, заведомо зная, что ничего у меня не получится, нужные слова не отыщутся и не найдутся, словно засыпанные песком и галькой.

Я опять шел в рыбацкий поселок, покупал в магазине вино и закуски и взбирался на дюну, но уже не со стороны моря, где она многоступенчато-отвесная и недоступная мне, а со стороны шоссе, к которому дюна подходит почти вплотную затаженным пологим спуском. На вершине я ложился на непрогретый еще песок вначале ничком, а потом навзничь и долго, часами лежал, пытаюсь все-таки услышать, как поют янтарные древние пески. Но ничего, хотя бы отдаленно напоминающее пение, я ни разу не услышал...

* * *

Так продолжалось целую неделю. Я совершенно извелся, измучился и вдобавок ко всему простудился, лежа на холодном песке. Марии о своих походах на дюну я не обмолвился ни единым словом, делая вид, что целыми днями суровым отшельником и затворником безвыходно сижу на мансарде и все пишу и пишу таинственный свой роман.

Но вот в субботу вечером, когда мы втроем пили чай на первом этаже, Мария вдруг сказала:

— Завтра мы с вами пойдем на Королевскую дюну.

— С Мальвиной? — не смог не спросить я.

— Нет, — строго ответила Мария. — Мальвина по воскресеньям ходит к бабе Насте. У них там свои секреты.

Я думал, что Мальвина начнет сейчас капризничать, упрашивать Марию, чтобы та взяла ее с собой, но Мальвина, наоборот, лишь обрадовалась, что завтра, в выходной воскресный день пойдет к бабе Насте, по которой сильно соскучилась и с которой у них свои секреты и тайны.

* * *

Ночью я спал плохо, часто просыпался, с тревогой и замиранием сердца смотрел в окошко: не пора ли подниматься, не настало ли уже утро, может быть, самое счастливое утро в моей жизни. (Часам я в ту ночь не доверял и ни разу не взглянул на них: часы могли остановиться или намеренно замедлить ход, лишь бы навредить мне).

Но вот, наконец, солнце вынырнуло из-за Куршского залива, далеко, до самого горизонта осветило тихое и спокойное море, впервые показавшееся мне синим и голубым.

Я наспех, без прежнего прилежания сделал зарядку, наспех попил чаю и, облачившись в военное свое хэбэшное обмундирование, которое у матери вместе с парадным мундиром не оставил, а забрал с собой (вдруг пошлют в колхоз на уборку картофеля или кукурузы, так лучшей одежды не найти), сел на диване и стал ожидать, когда Мария позовет меня.

Ждать пришлось долго. Наверное, часа полтора, а то и два. Я просто забыл, что сегодня воскресенье, и Марии с Мальвиной хочется отоспаться за всю прошедшую рабочую неделю. Особенно Марии. Ведь она ежедневно просыпается с восходом солнца и все бродит и бродит по морскому побережью, по моим подозрениям, лишь делая вид, что собирает янтарные крупинки, а на самом деле по какой-то совсем иной причине...

Торопя время, я пробовал читать Хемингуэя, но не «Старик и море», а другие его более счастливые рассказы. Поначалу я увлекся ими, завидовал отчаянно храбрым и мужественным героям Хемингуэя, но потом вдруг ловил себя на мысли, что ничего не понимаю в написанном, не могу вникнуть в его смысл и значение, хотя прежде не раз эти рассказы читал, и все мне в них было понятно и ясно.

Я отбрасывал книгу в сторону и опять принимался ждать, чутко, с резким биением сердца прислушиваясь к каждому шороху на нижнем этаже дома.

* * *

...Мария позвала меня лишь в девятом часу, и не просто позвала, а сама поднялась на мансарду и постучалась в дверь.

Я поспешно открыл, надеясь увидеть Мальвину, которая часто выполняла роль посыльной. Но увидел Марию, одетую совсем не по-походному, в праздничное, выходное платье все того же нежно-сиреневого, похоже, любимого ее цвета, правда, немного старомодное, удлиненное (а тогда ее ровесницы носили платья уже совсем другие, укороченные, едва-едва прикрывающие колени или вовсе не прикрывающие их).

Мария с удивлением и любопытством посмотрела на мой военный наряд, на кирзовые, надраенные, будто перед походом в увольнение, до зеркального блеска сапоги, на бело-батистовый умело подшитый подворотничок (жаль, вдвойне и втройне жаль, что не было сейчас при мне медали и знаков солдатской доблести!), но ничего не сказала по этому поводу, а лишь посоветовала, как обычно советуют опытные проводники-наставники начинающим путешественникам:

— Возьмите свитер, наверху холодно!

Я тут же бросился выполнять ее приказание, затолкал в рюкзак шерстяной, связанный мне матерью в канун демобилизации свитер, и еще за чем-то плащ-палатку, хотя о ней Мария не обмолвилась ни единым словом.

Увлекая за собой Марию, я сразу за порогом дома свернул было на тропинку, ведущую к морю, чтоб идти к Королевской дюне вдоль побережья (заманчиво было представлять мне этот объединительный наш поход по сыпучему, пепельно-белому песку берегом такого тихого сегодня и такого синего моря!), но она вдруг остановила меня:

— Мы поедем на велосипедах. Это очень далеко. Вы умеете ездить на велосипеде?

— Умею, — ответил я, хотя надо было обмануть Марию и сказать, что не умею или умею, но лишь чуть-чуть. Ведь одно дело идти с ней рядом, слышать ее дыхание, ощущать запах ее светло-каштановых волос и, воз-

можно, даже соприкоснуться плечами, и совсем иное — ехать на велосипедах по обочине шоссе (Мария впереди, я — сзади), когда ее дыхания и запаха волос не будет слышно, когда она будет постоянно впереди и в отдалении.

Но сопротивляться Марии я не имел никакого права: она хозяйка, путеводительница, а я всего лишь гость, человек временный и случайный.

Велосипеды стояли в сарае, прислоненные к кирпичной красной стене: один мужской, с продольной высокой рамой, тот, на котором Мария с Мальвиной ежедневно ездили в Зеленоградск, и другой — женский, с рамой изящно-прогнутой, чтоб женщинам было удобно и неопасно садиться на него. Заднее колесо у женского велосипеда было в полукруг затянута ажурною желто-розовой сеткой. Когда он изобретался, женщины еще не носили брюк, а путешествовали в платьях и юбках. Во время езды подхваченный порывом встречного или бокового ветра подол мог попасть и запутаться в спицах, и вот для этого была придумана защитная сетка. Рядом с грубоватым мужским велосипедом, женский, с глубоко, по-журавлиному прогнутой рамой, защитительной сеткой и кружевной усеянной бубенчиками и кисточками ленточкой по ободку сидения казался миниатюрным и воздушно-легким. На нем только и могли ездить такие женщины, как Мария, утонченно-нежные и хрупкие.

Я выкатил оба велосипеда из сарая, придирчиво, по-деловому осмотрел их, подкачал шины, проверил динамомашинки, прикрепленные на передних вилках, и глазомерно-зоркие фары на рулях, как будто нам предстояло возвращаться домой поздно ночью.

Мария внимательно наблюдала за моим дотошным осмотром велосипедов и дорожными приготовлениями, но ни во что не вмешивалась, не сделала ни единого замечания, великодушно позволила, не спросив разрешения, приладить ее сумку на руле (свой рюкзак я приторочил на багажнике, надежно прижав его тугой пружиной). Судя по всему, она считала, что всем этим и должен заниматься именно я, мужчина, гораздо больше ее понимающий в технике. Я загордился своей участью, умением и ловкостью, и в этой гордыне не догадался о том, что она наблюдает за мной не просто так, не ради одного только любопытства, а, похоже, сравнивает с каким-то иным мужчиной, который чинил ей велосипеды раньше и с которым она тоже ездила на Королевскую дюну.

Крепко заперев на щеколду калитку, мы сели на велосипеды (как и следовало ожидать: Мария — впереди, я — сзади), но поехали не по тряскому шоссе, а по песчаной тропинке, которая, будто наперегонки, бежала рядом с ним, то ныряя в густые березняки и осинники, то едва заметным ручейком петляя по луговым, заросшим молодой травой полянкам. Точно такая же пешеходно-велосипедная тропинка, тесно прижимаясь к заборам и изгородям, бежала у меня по селу вдоль огородов и широких колхозных полей, засеянных рожью, льном и высокой, дурманяще пахнущей коноплей. От резких порывов ветра и рожь, и лен, и даже ломкая конопля шли настоящими волнами и перекатами и были очень похожи на янтарно-зеленое море. Когда Мария приедет ко мне в село, то я покажу ей эти наши поля и огороды, и она согласится, что они действительно похожи на любимое ее янтарное море.

Несколько раз, почти вплотную приближаясь к Марии, я хотел ей рассказать об этом сейчас, пока смел и решителен, но сдерживался, и вовсе не потому, что боялся показаться смешным и навязчивым со своими неправдоподобными сравнениями, а потому, что не мог оторвать взгля-

да от Марии, от ее туго завязанных на затылке в пучок волос, от ее длинной, с едва заметной родинкой, шеи и нежно-покатых плеч. Все это казалось мне видением, полусном — и я боялся испугнуть его. Мария тоже молчала, хотя, наверное, могла бы и указать мне на какие-нибудь особо приметные и особо любимые ее места вдоль дорог. Но то ли таких мест не было, то ли она намеренно скрывала их от меня. Лишь возле рыбацкого поселка Мария вдруг повернулась ко мне и предложила:

— Давайте заедем, купим рыбы!

— Давайте, — немедленно согласился я, радуясь и предстоящей остановке, когда мы вдвоем будем покупать рыбу, и просто ее серебряно-звонкому голосу...

По своей неопытности и незнанию местной жизни, я думал, что рыбу мы будем покупать в том самом магазине, где я недавно покупал вино, но Мария спешилась с противоположной от него стороны, возле добротного хозяйственного дома с зубчато-острым забором, на котором сушились рыболовецкие снасти. Мы вошли во двор, и она принялась торговать змееподобных угрей горячего и холодного копчения у хозяина дома, высококостистого старика, судя по акценту, латыша или литовца.

— Надо купить вина, — запальчиво, но так, чтобы не слышал старик, предложил я.

— Надо! — легко согласилась она. — Только на дюне вино не пьют. Надо водку или настойку: перцовку, зверобой, старку.

Я поразился всем этим: ее совсем не девчоночьим, не женским словам, но противиться не посмел, оставил Марию наедине со стариком и побегал через улицу к магазину.

Покупать водку я почему-то поостерегся и приобрел бутылку жгучекрасной перцовки.

Когда я вернулся назад, Мария уже укладывала в сумку рыбу. Ей помогал старик: ловко, нигде не ломая, сворачивал угрей в колечки и бережно передавал разборчивой покупательнице.

Никогда прежде угрей я не видел и не ел (в нашей тихоструйной реке они не водятся, и доведись кому поймать странную эту рыбину, то ее непременно приняли бы за змею) и с опаской представил себе, как же я буду их есть, да еще в присутствии Марии.

— Пива не возьмете?! — спросил на прощание старик. — У меня свое, домашнее, в дубовой бочке.

— Спасибо! — вежливо отказалась Мария (может, она вовсе не любила пива или считала, что коль на вершине дюны нельзя пить вино, то пить домашнее литовско-латышского приготовления пиво из дубовой бочки предосудительно и недостойно тем более). — В другой раз.

Это случайно оброненное Марией обещание «в другой раз» меня очень обрадовало и вдохновило. Значит, мы приедем сюда еще когда-нибудь (возможно, в следующее воскресенье) и тогда уж непременно купим у сумрачного старика пиво. Я сам настою на этом, а Мария не посмеет отказать мне...

* * *

Остановились мы возле самого подножья дюны, с пологой ее, затяжной стороны. Велосипеды Мария велела спрятать в кустах терновника, где было только одной ей ведомое потаенное место, а сама, сняв сандалии, стала подниматься на дюну. Я хотел забрать у Марии тяжелую ее хозяй-

ственную сумку, но она, наотрез отказавшись от помощи, отстранила меня рукой и проищила какое-то странное, загадочное слово:

— Потом!

Что это могло означать, я никак понять не мог. Когда — потом?! Сегодня, чуть позже, на самом крутом участке подъема, или в другой раз, когда мы будем взбираться на дюну, неся в сумке и рюкзаке многолитровые бутылки с пивом. Забрать же ее ношу силой я не отважился. У любой иной женщины забрал бы, не раздумывая, а вот у Марии не посмел, потому что она — не иная...

Деваться было некуда: я понадежней приладил рюкзак, по привычке стянул его на груди специальными лямками, которые бывают только в армейских вещмешках, и двинулся вслед за Марией. У подножья дюны лежало несколько посохов, брошенных какими-нибудь нашими предшественниками, студентами или заезжими туристами с материка, и я сначала позарился было на один из них, помня свое первое восхождение на дюну. Но так и не взял его, устыдившись своей слабости. Мария ведь на все эти просоленные морем коряги даже не посмотрела.

Она шла уже далеко впереди меня. И не шла, а, казалось, взлетала легкой весенней ласточкой, почти не оставляя на песке никаких следов. Я же в солдатских своих дембельских сапогах сорок третьего размера, подбитых для форсу самодельными подковами, увязал в нем едва ли не выше голенищ и все больше и больше отставал от Марии. Мне, наверное, тоже надо было снять пудовые эти сапоги и идти налегке, босиком, но я постеснялся решиться на такой поступок. Солдат в брюках галифе с завязками-штрипками на щиколотках и с самодельными, захлестнутыми за стопу шлейками (в наше время так делали все солдаты, начиная с первого дня службы, чтоб брюки были в натяг и струнку, а не морщились гармошками на голених) выглядит несуразно и постыдно, будто военнопленный. Но еще больше меня смущали солдатские мои портянки, которые Мария на вершине дюны непременно, конечно, увидит. Они были фланелевыми, новенькими, выданными мне к дембельским сапогам все тем же щедро-уступчивым Костей Никольским, к тому же и недавно собственноручно постиранными, но все равно оставались грубыми солдатскими портянками, и мне не хотелось, чтоб Мария их видела.

Терзаемый глупыми своими сомнениями, я, выбиваясь из последних сил, брел вслед за Марией и сгоряча несколько раз подумал, что, может быть, мне и вовсе не надо было соглашаться на поездку с ней к Королевской этой поющей насыпи.

* * *

Соединились мы с Марией на самой вершине дюны, возле реденьких, но все-таки защитных кустов краснотала, которые неведомо каким образом могли расти в этих пустынных песках. Вся правая пологая сторона дюны была ярко залита солнцем. Смотреть на нее было опасно — так слепили глаза кремневые, звездно-искрящиеся песчинки. А левая, лестничным обрывом падающая в море, находилась еще вся в тени и от этого казалась какой-то провально страшной.

Внизу, на побережье и на шоссе, с утра было тихо и безветренно (не знаю почему, но я обратил на эту немного странную для морского прибалтийского побережья тишину, когда мы отправились с Марией в дорогу),

а здесь, на семидесятиметровой высоте, дул пронзительно-резкий и холодный ветер. Почти ураган.

— Наденьте свитер! — заботливо сказала Мария, как только я сбросил на землю рюкзак. — Простудитесь!

Меня обдало изнутри обжигающе-горячим жаром от этих ее слов, как будто я вдруг оказался возле полыхающей печи или возле кузнечного горна, но я не подчинился Марии и стал по-мальчишески храбриться, изображать из себя закаленного, стойкого солдата, которому все ни по чем, тем более, что сама она была лишь в одном легоньком летнем платье, и ничто не показывало, что в сумке у нее хранится более теплая одежда: кофта, свитер или хотя бы штормовка.

— Вы и так по ночам кашляете! — неожиданно оборвала Мария мою показную храбрость. — Не хватает только воспаления легких.

Я поразился этому еще больше, чем ее приказанию надеть свитер, и жар внутри меня сменился холодно-колким ознобом, как будто я давно и безысходно болею именно воспалением легких.

По ночам я действительно кашлял, иногда глухо и сдержанно, а иногда надсадно, с хрипами и режью в груди, но никак не мог предположить, что все эти мои, в общем-то, не очень опасные покашливания, слышит Мария. Я думал, что она сладко и томительно спит, убаюканная морским прибоем, запахом сирени и лопотанием флюгера на крыше. А, оказывается, она все слышала и, может быть, досадовала на меня, что я бужу ее в самые сонные полуночные часы.

После такого признания и такого упрека не подчиниться Марии было никак нельзя. И я послушно подчинился ей, достал из рюкзака свитер и надел его поверх гимнастерки. Мне сразу стало и теплее, и уютнее. Я почувствовал себя опять гражданским вольным человеком, в одно мгновение избавился от своей скованности, обрел утерянное было чувство мужского старшинства и главенства и принялся, ни в чем не советуясь с Марией, разбивать наш походный туристический лагерь-бивуак.

Первым делом я расстелил на песке солдатскую плащ-палатку, прижал ее по краям, оберегая от порывов ветра, камнями, потом поставил на середину бутылку перцовой настойки и положил рядышком наизготовку свой драгоценный ножик-складенек, который нам обязательно, конечно, должен был понадобиться. Мария не останавливала меня и не делала никаких замечаний. Она была занята своим женским делом: раскладывала на холщовом полотенце длиннохвосто-угрожающих угрей, хлеб, поставила китайский термос с чаем (а я вот, собираясь в поход к морю, не подумал о том, что пресной воды там не найдешь ни капли, и чтоб не умереть от жажды, надо будет спускаться к Куршскому заливу или идти в какой-нибудь ближайший поселок) и, главное, два граненых стакана. Эти граненые стаканы совсем удивили меня. По своему — и деревенскому, и армейскому, и редакционному — опыту мне хорошо было известно, что на свежем воздухе, на природе, водку или крепкую настойку лучше всего пить из граненых стаканов, а не из рюмок. Стаканы и устойчивей на земле, и надежней, в них лучше видна мера и доза содержимого.

Когда все было готово, мы сели на плащ-палатку, но не рядышком, а напротив друг друга, разделенные скатертью. Я налил по четверти стакана перцовки и замер, опять, как и в первый день нашего знакомства, не зная, что и как надо говорить, какой провозглашать тост. Мария сразу почувствовала мою растерянность, но несколько мгновений еще ждала, должно быть, надеясь, что я придумаю и найду единственно необхо-

димые сейчас слова. И я придумал бы их, но вдруг на вершине дюны стало темно и сумрачно: с моря набежала гряда облаков, она плотно закрыла солнце, и тут же капнуло несколько крупных предупреждающих капель дождя. И тогда Мария выручила меня, растерянного и немо-молчащего с зажатым в руке стаканом янтарно-розовой перцовки.

— За тех, кто в море! — искренне и серьезно сказала она и негромко чокнулась со мной ободом стакана.

Что надо говорить в ответ на такой тост, я не знал: все-таки был человеком сугубо континентальным, сухопутным, в наших краях подобных тостов не провозглашают. Поэтому я произнес что-то согласно-невнятное, но зато открыто посмотрел в бездонно-голубые, чуточку суженные глаза Марии и безошибочно почувствовал, что слова эти не совсем ее, что она просто раньше не раз слышала их в компаниях людей действительно мореходных, испытанных штормами и бурями, для которых слова «За тех, кто в море!» — не пустой звук.

Перцовку Мария выпила совсем не так, как обычно пьют крепкие напитки женщины (через силу, с плотно сжатыми губами), а по-мужски, на едином вдохе-выдохе.

Я последовал примеру Марии, выпил перцовку тоже единым глотком и залпом, но едва не поперхнулся. Пробовать перцовку мне давно не приходилось, и я запомнил, сколь это обжигающе-острый напиток, как горит и испепеляется от него все внутри. Волей-неволей надо было поскорее закусывать, гасить в себе перцовый бушующий пожар, иначе погибнешь, сгоришь дотла. Отрешившись от всего на свете, я отломил едва ли не четверть хищно глянувшего на меня мертвым глазом угря. Белоснежное его рыбе мясо показалось мне не только удивительно нежным и мягким, но еще и холодно-остужающим. Огонь во рту и гортани сразу погас, притупился, и я заново обрел жизнь.

Мария же закусила лишь маленьким кусочком хлеба и еще меньшим ломтиком угря горячего копчения. Чувствовалось, что все это для нее привычно и обыденно и что она не раз и не два отмечала свое восхождение на Королевскую дюну такой вот, не совсем обычной трапезой.

На меня Мария опять не обращала никакого внимания: смотрела мимо, далеко в море, сейчас спокойное, не штормовое и, возможно, видела (а уж чувствовала и осязала точно!) тех, за кого только что выпила огненно-крепкую перцовку. А я неотрывно смотрел на ее напряженное лицо, хотя и понимал, что так поступать нельзя, но ничего с собой поделать не мог: смотрел и еще хотел смотреть, и лишь в те мгновения, когда она замечала мой откровенно-настойчивый взгляд, я поспешно отводил его и через плечо Марии устремлял на залитый солнцем Куршский залив, за которым начиналась бескрайняя равнинная суша...

Потом мы еще несколько раз выпивали, уже не обременяя себя никакими тостами, но как-то совсем не так, как в первый день нашего знакомства. Может быть, потому, что пили не в доме, под защитой островерхой крыши и красно-кирпичных стен, а возле моря и не из хрустальных бокалов. Правда, однажды я едва не провозгласил тост за Летучего Голландца, чтоб он наконец благополучно пристал к берегу. Но, минуту подумав, я вовремя сдержался: вдруг по морским законам и обычаям провозглашать такой тост нельзя, чтоб не накликать на тех, кто в море, беду. Вместо этого я стал нахваливать угрей, которых раньше мне есть никогда не доводилось, а заодно и старого латыша или литовца, скрыв от Марии, что он-то мне как раз и не понравился.

Голова от выпитого у меня опасно закружилась, и я заново принялся рассказывать Марии про свою деревню, про могильный курган, на котором мы тоже иногда устраивали выпивку.

— С женщинами? — прервала она меня.

— Какие там женщины! — не придал я тогда никакого значения этому ее любопытству. — Играем целый день на лугу в футбол, а вечером купим в складчину несколько бутылок портвейна, взберемся на курган и пьем возле птичника.

Я подробно и, должно быть, совершенно неинтересно для Марии, рассказал ей, как во времена нашего детства колхозному начальству взбрело в голову построить на вершине кургана из лозового плетня сарай, громко названный птичником и даже птицефермой.

Года три-четыре там действительно содержались под присмотром двух старушек, определенных в птичницы, куры и утки. Но ничего из этой затеи, в конце концов, не получилось. Утиные выводки с утра пораньше расплывались по реке вверх и вниз по течению и часто бесследно пропадали там. Одних безнаказанно вылавливали громадные сомы-бочажники, которые водились в речных глубинах; других, принимая за диких, еще более безнаказанно отстреливали осенью заезжие и захожие, не нашего колхоза и села, охотники. С курами было и того хуже. Не досыта, впроголодь кормленные, они разбрелись по окрестным огородам, совершая опустошительные набеги на просяные клиншки и грядки. Из-за этого постоянно возникали скандалы и со старушками-птичницами, по немощи своей не очень бдительными, и с колхозным начальством. Вдобавок ко всему по ночам кур воровали хорьки и куницы, сразу расплодившиеся вокруг птичника, а днем над ним неисчислимыми стаями кружили коршуны и тоже удачливо охотились за цыплятами, а то и за курами-несушками.

К моему удивлению, Мария очень внимательно слушала мой назойливо-пространный рассказ и в конце заинтересованно спросила:

— А он до сих пор стоит?

— Кто? — увлеченный повествованием, не понял я.

— Ну, птичник этот! — пояснила она.

— Стоит! — обрадовался я интересу Марии к моей юношеской жизни. — Только пустой. Я вам покажу его, если мы съездим в деревню.

— Хорошо, — после недолгого молчания сказала она.

Странно как-то и неясно (как будто не вслух, а лишь про себя) сказала, и я никак не мог понять, что значит это ее «хорошо»: согласна Мария поехать ко мне в деревню, или ей «хорошо» сейчас со мной на вершине Королевской дюны.

Солнце к этому времени уже поднялось высоко в зенит, ярко осветило и все наше становище, и часть западного, морского склона дюны. Неожиданно (и очень опасно для меня) Мария вдруг сняла летнее свое легко-сиреневое платье и осталась в одном лишь вызывающе открытом купальнике. Меня поразило ее тело: оно было на редкость соразмерно сложенным и натренированным. Такие тела обычно бывают у женщин, которые с детских, с юношеских лет занимаются плаванием: длинная шея, покатые плечи, стройные сильные ноги — все выверенное и филигранно отточенное. Небрежно скомкав платье, она положила его себе под голову и легла на плащ-палатке, лицом к солнцу и морю.

Я тоже принялся стаскивать свитер, но Мария резко и требовательно остановила меня:

— А вы не смейте! Простудитесь и обгорите!

Я одернул свитер назад, но вовсе не потому, что «не смел», а потому, что вдруг застеснялся своего, хотя и мускулистого, но такого невероятного худого и нескладного тела. Одежда скрывала очевидные его недостатки, и как бы уравнивала меня с Марией, а сбрось я солдатское свое обмундирование, которое придавало мне хоть какое-то мужество, так все бы сразу обнаружилось и проявилось (и худоба моя, и по-зимнему болезненная белизна), и как бы я тогда себя чувствовал рядом с Марией, безусловно сложной и загорелой.

Я лишь позволил себе, наконец, снять сапоги, показавшиеся мне сейчас неподъемно тяжелыми и нелепыми. Портянки я привычно и заучено обернул вокруг голенищ и безжалостно забросил дембельские свои, так тщательно и любовно выхоленные кирзачи подальше, в заросли широколистой, похожей на кактусы колючки.

Я лег на плащ-палатку по другую сторону нашей скатерти, но не переставал украдкой следить за Марией. Она вначале лежала с широко открытыми глазами, глубоко, размеренно дышала и неотрывно смотрела в высокое чисто-синее сейчас, без единого облачка небо. Во время вдоха-выдоха из-под выреза купальника в ложбинке груди у нее появлялась соблазнительно белая, зовущая и манящая полоска, оторвать взгляд от которой было свыше моих сил. И я преступно не отрывал его.

Но вот Мария утомленно прикрыла глаза, дыхание ее стало ровнее и тише, и я решил, что Мария уснула. Подглядывать же за ней, сонной и спящей, мне показалось некрасивым и нечестным. Я тоже прикрыл глаза, надеясь, что сладкий охранительный сон на свежем морском воздухе вот-вот овладеет мной.

Так мы лежали минут десять-пятнадцать: Мария спала (или мне казалось, что она спит), а я изо всех сил старался уснуть. Но вот Мария, не открывая глаз, вдруг приглушенно-тихим, потерявшим серебро голосом окликнула меня:

— Слышите?!

— Слышу! — отозвался я, сразу догадавшись, о чем она говорит и спрашивает — о поющих песках на вершине Королевской дюны.

Но на самом деле, сколько я ни напрягался, а ничего, кроме ударов собственного сердца, не слышал. Мне надо было признаться в этом Марии, попросить, чтоб она научила меня, как надо по-настоящему слушать поющие пески. Но как я мог признаться ей в своей глухоте?! И я не признался, а лишь, обманывая ее, сказал:

— Какой странный звук!

— Странный, — согласилась она со мной и опять замолчала (теперь, кажется, действительно глубоко и крепко уснула).

Ко мне же сон никак не шел, меня не мог убаюкать ни монотонный шум морского прибоя, ни пронзительные звуки поющего песка, услышать и разгадать которые мне, судя по всему, не дано от природы.

Я сел на плащ-палатке и, будто врубелевский «Демон в пустыне», обхватив коленки руками, угнетенный и неприкаянный, застыл в двух шагах от спящей Марии-Тамары. Смотреть на нее, спящую, я по-прежнему опасался, но мне в который уж раз пришла в голову неотвязная мысль и догадка, что раньше Мария бывала здесь на вершине Королевской дюны с кем-то иным. Точно так же они пили обжигающе-жгучую перцовку (он и научил этому Марию), смеялся и забавлялся, закусывали угрями холод-

ного и горячего копчения, а потом долго лежали рядом, слушали поющие пески, и оба понимали все их мелодии и звуки.

Оставив меня в полном одиночестве, Мария безмятежно спала (или казалась мне спящей) на этот раз очень долго. Солнце за это время начало клониться на запад, светить ей прямо в глаза, словно тоже истомилось в одиночестве и хотело, чтоб она поскорее проснулась.

Мария и вправду несколько раз повела веками, отчего длинные ее ресницы вздрогнули — и проснулись. А в следующее мгновение проснулась и она сама, немного с удивлением посмотрела на меня (кто я такой и зачем здесь?!), и вдруг резко поднялась на ноги и стремительно побежала по крутому обрыву к морю. Я бросился было за ней следом, но Мария, обернувшись на бегу, остановила меня все теми же заботливо-запретительными словами:

— А вы не смейте! Море холодное — утонете!

На этот раз мне надо было ее все же послушаться и побежать следом: что с того, что море холодное — плавать я умею, может, и не хуже Марии, а если и утону, то все-таки рядом с ней, в ее любимом Балтийском море.

Но я не побежал. И вовсе не потому, что опять застеснялся раздеваться при ней, показывать свое бледно-худое, еще по-настоящему не пережившее промозглую прибалтийскую зиму тело, а потому что, наконец, всерьез обиделся на нее за недоверие ко мне, за излишнюю опеку и совершенно ненужную мне заботу.

Я гордо остался стоять на вершине дюны и наблюдал, как Мария, поптичь раскинув руки, бежит навстречу морю и солнцу.

Возле самой кромки воды она выбросила руки далеко вперед и, ни на минуту не задерживаясь, натренированно поднырнула под набежавшую (можно было подумать, что специально для нее) высокую волну и бесследно скрылась в янтарных глубинах моря.

Мгновение истекло за мгновением, а Мария все не показывалась и не показывалась. Я начал лихорадочно снимать свитер и гимнастерку, чтоб бежать ей на выручку: ведь, того и гляди, сама утонет в морской, еще почти ледяной пучине. Но вот Мария показалась далеко от берега и, не оглядываясь на меня, дозорно стоящего на вершине, еще стремительней, чем бежала по склону дюны, поплыла к резко очерченному горизонту. Я следил за ней, сколько можно было следить, порывался даже крикнуть: «Возвращайтесь назад!», но когда фигура Марии превратилась в маленькую, будто чернильную точку, опять сел на плащ-палатку и обхватил колени руками...

* * *

Возвращались мы домой уже ночью, в сумерках. Во дворе у порога нас ждала Мальвина и баба Настя, высокая, немного нескладная женщина, лет сорока пяти, в солдатской, похоже, еще времен войны защитной стеганке-телогрейке. На правой руке у нее не было двух пальцев, мизинца и безымянного, на щеке (от виска до подбородка) виднелся глубокий извилистый шрам. Но все эти увечья бабу Настю ничуть не портили, а лишь делали ее какой-то по-особому величественной и несокрушимой.

Глянув на мое армейское обмундирование, баба Настя с прямою, присущей только женщинам, прошедшим войну и фронт, спросила:

— Солдат?

— Бывший, — ответил я вроде бы точно так же, как при знакомстве с Марией, но вместе с тем и совсем не так: правая моя рука сама по себе привычно вскинулась к виску, словно при докладе старшему по званию.

— Пехотинец? — опять спросила баба Настя, и в этом ее вопросе ясно читалось и слышалось, что главным солдатом на войне она считает именно пехотинца и никого иного.

— Ракетчик! — разочаровал я бабу Настю.

— Все равно солдат, — примирительно сказала она и, считая разговор со мной законченным, повернулась к Марии. — Ну, тогда я пойду. Мальвина накормлена.

— Спасибо, — поблагодарила ее Мария за дневной, воскресный просмотр за Мальвиной и проводила до калитки.

Там они о чем-то еще недолго поговорили и расстались: Мария вернулась назад к нам с Мальвиной, а баба Настя пошла по шоссе в сторону Зеленоградска-Кранца к своему, таящемуся где-то совсем рядом, жилью. Я невольно залюбовался ее походкой, вернее, даже не походкой, а поступью. Так нестигаемо могут ходить лишь женщины, прошагавшие в солдатском строю не одну сотню километров с санитарной сумкой на боку или снайперской винтовкой на плече (баба Настя, скорее всего, с винтовкой). Походка эта, поступь, вошла в ее кровь, в жилы и кости, и ничто на свете не сможет сбить бывшую фронтовичку с гордого победного шага...

* * *

Вечер мы с Марией и Мальвиной провели за чаем в их пропитанной запахами сирени и моря комнате. Я все порывался расспросить Марию о бабе Насте: кто она и откуда, почему поселилась здесь, на Куршской косе, и не уезжает в Россию, где у нее наверняка есть родные и близкие. Но так и не спросил, вовремя почувствовав, что рассказ этот расстроит Марию, которая сама не едет в Россию.

Я решил отложить разговор о бабе Насте до следующего раза, до следующего нашего с Марией похода на Королевскую дюну. А в следующий раз я буду вести себя совершенно не так, как сегодня. Забрав у Марии сумку, взберусь на песчаную вершину прежде нее, сниму и сапоги, и гимнастерку, и брюки-галифе, чтоб в один день загореть не хуже Марии. А когда мы с ней без всяких надуманных многозначительных тостов выпьем перцовки, я лягу рядом с Марией плечо к плечу, рука к руке и буду слушать (и непременно услышу), как поют эти уже начавшие мне надоедать пески. Потом мы вместе с Марией побежим по склону дюны к морю, и я уплыву гораздо дальше нее, ничуть не боясь ни волн, ни пугающе черной глубины. За целый день я ни единым словом не обмолвлюсь о своем селе и могильном кургане на берегу реки (Марии это скучно и неинтересно), где мы пили с ребятами (а иногда все-таки и с девчонками) портвейн в тени заброшенного птичника. И уж совсем не стану я ревновать Марию к ее прежнему спутнику, с которым она ходила на Королевскую дюну когда-то давным-давно, не зная еще меня. Я его просто придумал, вообразил, а на самом деле его никогда не существовало и не могло существовать.

Но следующего раза, увы, так и не случилось. Неделя проходила за

неделей, а Мария все не звала и не звала меня в новый поход на Королевскую поющую дюну. Сам же попросить ее об этом я не решался.

Каждое утро я просыпался спозаранку, раскладывал на столе уже успевшие пожелтеть листочки и пробовал сосредоточиться над ними, плотно задернув на окне занавески, чтоб не видеть, как Мария ходит по морскому берегу и собирает янтарные крупинки. Но я видел ее (а еще больше чувствовал) и сквозь занавески, предательски искал в них щелочку, с нетерпением ожидал, когда порывом ветра они распахнутся едва ли не в пол-окна. Листочки мои оставались лежать нетронутыми.

Потом я внимательно прислушивался, как Мария с Мальвиной собираются на работу, как они за утренним чаем о чем-то весело переговариваются и смеются...

Когда же они выкатывали из сарая велосипед, я выходил на лестничную площадку, припадал к слуховому окошку-бойнице и долго следил, как они едут по утреннему, полупустому еще шоссе, все удаляясь и удаляясь от меня...

После их отъезда я прятал листочки назад в ящичек стола, давая при этом и себе, и этим пожелтевшим листочкам твердое обещание, что завтра утром обязательно вернусь к ним, и работа у меня на этот раз заладится. Кое-как успокоив себя обещанием, я спускался вниз и целый день бесцельно слонялся по побережью, иногда забредал в поселок, чтоб, суетерно обойдя стороной дом, где мы покупали с Марией рыбу, заглянуть в магазин и приобрести там бутылку вина. Пил я его, хоронясь под обрывом за какими-нибудь камнями и корягами, но очень дружелюбно поглядывая на виднеющуюся вдалеке гряду дюн. Сухое вино было кислым и чуть-чуть горьковатым, чего я не замечал прежде; я пил его маленькими глотками, растягивая не столько удовольствие, сколько время: пока я буду сидеть здесь, под обрывом, незаметно наступит вечер, суровые мои хозяйки вернутся из города, и уж сегодня Мария обязательно объявит, что в ближайшее воскресенье мы отправляемся на Королевскую дюну.

Но день проходил за днем, а Мария по-прежнему ничего мне не говорила, никуда не приглашала. Они с Мальвиной жили своей счастливой жизнью, а я своей, обособленной и неприкаянной, вернее, не жизнью, а существованием, легкомысленно вставшего к ним на постой квартиранта.

Закончилось все это тем, что однажды утром, как только Мария с Мальвиной отправились в Зеленоградск, я сочинил впопыхах коротенькую записку: «Я уезжаю. Так случилось», потом, тоже впопыхах, будто кто-то мог меня остановить и насильно удержать, собрал все свои вещи и исчез из дома Марии навсегда, подальше от Куршской косы, от холодного, почти северного моря и как можно подальше от неизвестно о чем поющих и стонущих песков...

По дороге, правда, уже в электричке, я вдруг подумал, что все-таки надо было добавить в записке еще несколько слов. Каких, я никак придумать не умел, но чувствовал — надо было. Может, пообещать, что скоро приеду, и мы обязательно поднимемся на Королевскую дюну. Я едва не вернулся назад. Подхватив чемодан и рюкзак, выходил в тамбур к двери и на одной остановке, и на другой, и на третьей, но так и не вернулся: дверь с лязгом захлопывалась, и электричка с пронзительным, надсадным воем неслась навстречу новой моей, студенческой и непременно счастливой жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ

...С тех пор прошло много-много лет. Я учился вначале два года в провинциальном педагогическом институте, а потом целых пять лет в Литературном институте в Москве. И годы эти действительно были самыми счастливыми в моей жизни. Все, о чем я загадывал и мечтал, сбылось: лекции в переполненных аудиториях, семинары и коллоквиумы, студенческие вечера и пирушки в общежитии, походы в окрестные леса и рощи, а в Москве — в театры и музеи, поездки в древние города-поселения: Сергиев Посад (тогда еще Загорск), Абрамцево, где жил один из любимых моих писателей — Юрий Казаков, в Переделкино, Коломну, Архангельское и даже в Рязань, в село Константиново, на родину Сергея Есенина. Само собой разумеется, что появилась у меня и та, единственная, о которой я тоже мечтал с самой ранней юности. Правда, выбрать ее на филологическом факультете педагогического института было не так-то просто. Девчонок там училось очень много, и одна другой лучше — глаза разбегаются и туманятся. Тогда она сама выбрала меня.

И, кажется, не ошиблась. По крайней мере, мне так хотелось думать...

Писателем я тоже все-таки стал. И даже написал тот злополучный роман, который пробовал писать, еще работая в районной газете, а потом безуспешно терзался над ним, недолгое время живя на Куршской косе. Получился он, конечно, совсем не таким, каким виделся мне в юношеские ученические годы. Все в романе было иным: и название, и первая глубокомысленная фраза, которая долгие годы изводила и неотвязно мучила меня. Я заменил ее на более простую и ясную (может, и не без влияния того же Казакова): «В тот год я жил на берегу Балтийского моря в старом заброшенном доме».

Роман этот неожиданно для меня имел успех, чему я не мог честолюбиво не радоваться. Кто из начинающих писателей в молодые годы не хочет быть знаменитым, замеченным и читателями, и критиками! Но, написав роман, я начал очень быстро забывать и Балтийское море, и Куршскую косу, и кирпичный домик над песчаным обрывом, и, прежде всего, не покоренные мной дюны. Повзрослев, я стал стыдиться себя, того прежнего, нескладного юноши, только-только снявшего армейские погоны, который так робел перед хозяйкой дома по имени Мария.

* * *

Став писателем, я быстро пристрастился ездить к Черному морю, теплему и по-южному ласковому. Почти каждый год я, то вместе с семьей, то в одиночку отдыхал в Домах творчества в Пицунде, Коктебеле или в Ялте.

В Коктебеле я любил подниматься раньше других обитателей Дома творчества, шел к морю и собирал там по побережью камушки халцедона, сердолика и агата, чтоб после заказать из них в мастерской, ютившейся у самой проходной, для жены и дочери перстеньки и ожерелье. Камушки эти и своим неброским цветом и каким-то внутренним, исходящим от них теплом нравились мне гораздо больше холодных янтарных.

В те годы в Коктебеле существовала одна незыблемая традиция. Каждый отдыхающий в первые же дни по приезде обязательно совершал паломничество на могилу Максимилиана Волошина, которая вид-

нелася на вершине холма Кучук-Енишар по дороге на Феодосию. К могиле вела крутая, торно натоуптанная за многие десятилетия паломниками тропинка.

Писатели чуть постарше меня помнили, как всего несколько лет тому назад на могиле Волошина с утра до вечера сидела в темном одеянии его жена Майя, Мария Степановна. Писатели, а чаще их жены и дети, приносили ей еду и воду — тем она и жила, безутешно оплакивая своего Макса. Но в мое время Марии Степановны уже не было в живых. Она покоилась рядом с могилой мужа, и теперь паломники навещали их обоих, хотя многим и казалось, что Майя-Мария незримой тенью сидит на камне и все так же скорбит по Максусу, считая свою жизнь тоже законченной еще в начале тридцатых годов, когда он так рано и неожиданно умер.

В очередную свою одиночную поездку, едва поселившись в дощатом домике, в тени кипарисов и каких-то иных, неведомых мне, южных деревьев (я всегда любил поселиться в Коктебеле именно в этих дощатых неприметных домиках, а не в кирпичных корпусах № 19 или № 2, где обычно селилось высокое литературное начальство), я, как истинный паломник, вооружился посохом и отправился по крутой, выцветшей за лето до меловой белизны тропинке к могиле Волошина и Майи-Марии.

Измученный и бессонной ночью в душном поезде, и нелегким подъемом на вершину Кучук-Енишара, я положил на надгробные гранитно-серые плиты два букета полевых цветов, собранных по обочине тропинки, потом долго смотрел на самый древний в Крыму потухший вулкан — нависшую над морем скалу Карадага, которая по своим очертаниям напоминала голову Максимилиана Волошина (так все говорили, так оно и было на самом деле) и, наконец, собрался уходить, чтоб успеть еще до вечера побывать на пляже.

И вдруг со стороны Феодосии к могилам Волошина и Майи-Марии подошли две женщины, тоже, судя по всему, паломники, знающие все коктебельские обычаи: одна лет тридцати семи-восьми, а другая совсем еще молодая, юная, может быть, всего лишь девятнадцатилетняя.

Солнце мне светило прямо в глаза, и я поначалу не признал их и не обратил на них сколько-нибудь пристального внимания: мало ли кто приходит на могилы Волошина и его жены. Одни, зная, кто лежит под гранитными серыми плитами, почтить их память, а другие, может, и праздно — все ходят, вот и они пришли.

Но, мгновение спустя, на солнце со стороны Карадага набежала темно-лиловая туча: я перестал щуриться, взглянул на паломниц повнимательней — и сразу узнал их.

— Мария?! — смело обратился я к старшей, давно пережив юношескую свою привычку робеть и без всякого повода стесняться женщин.

Она подняла на меня глаза, минуту-другую смотрела с удивлением, не узнавая, а потом все-таки узнала и улыбнулась своей сдержанно-таинственной (как и прежде, одними лишь уголками губ) улыбкой. Узнать меня действительно было непросто. Из лопухаго, чрезмерно худого, даже тощего, полумальчика я превратился к сорока годам в заметно тяжеловатого мужчину, оброс огненно-рыжей, увы, уже начавшей в двух-трех местах сесть бородой. Но Мария меня узнала. Правда, ни по ее виду, ни по ее вскользь и, как мне показалось, утомленно сказанным словам (как будто мы с ней виделись вчера и успели уже надоесть друг другу): «А, это вы?», я не мог понять, рада она нашей встрече или, наоборот, досадует, что она случилась.

Старая не придать этому никакому значению, я повернулся в сторону ее молодой спутницы и с полной уверенностью, что не ошибаюсь, весело сказал:

— А вы, конечно, Мальвина?!

— Конечно, Мальвина, — с полуслова подхватила она мой шутливый тон, хотя, похоже, немало и удивилась, что здесь, за тысячи километров от ее дома, кто-то называет ее не Машей, а приставшим к ней еще в детстве прозвищем — Мальвиной.

— Но меня вы не помните? — продолжил я все так же шутливо допрашивать ее.

— Не помню, — честно призналась Мальвина, но потом, еще раз взглянув на меня и о чем-то задумавшись, вдруг сказала: — Нет, все-таки чуть-чуть помню. Вы жили у нас на мансарде и носили солдатскую форму.

— Носил, — ностальгически вздохнул я.

Мне еще долго можно было продолжать разговор с Мальвиной в подобном тоне, пуститься в воспоминания о Куршской косе, об их доме и мансарде, о дюнах и о том, как Мальвина с мамой каждый день отправлялась на велосипеде в Зеленоградск-Кранц, а я с утра до вечера неприкаянно бродил по побережью холодного Балтийского моря. Но я вдруг почувствовал, что Мария не хочет этого разговора, что она вот-вот оборвет его, прекратит и уведет Мальвину на ту, феодосийскую, сторону холма, словно маленькую девочку, которой совершенно ни к чему слушать взрослые разговоры.

Меня это почти обидело: только встретились, только узнали друг друга, и сразу расставаться, опять на долгие годы, а может, и навсегда. Впрочем, я, скорее всего, просто наговаривал на Марию и в волнении не замечал, что она лишь делает вид, будто не рада встрече со мной и хочет поскорее расстаться, уберечь от ненужных воспоминаний Мальвину, а на самом деле и рада, и хочет продолжить наш разговор. Она ведь тоже сейчас совсем иная, хотя внешне почти не изменилась: все такая же стройная и гибкая, не по-южному сдержанно загорелая под скупым балтийским солнцем. Она лишь повзрослела, и от этой взрослости своей и зрелости стала еще более красивой.

Все старое, давнишнее и, казалось, навсегда, безвозвратно забытое вдруг всколыхнулось во мне, ожило и возродилось из песка и пепла. Ничего теперь от Марии мне не нужно было (у нее своя жизнь, у меня своя), но побыть с ней рядом хотя бы часа два-три, а лучше бы весь день, до вечера, хотелось, и тут скрывать нечего.

Сделав вид, что подчиняюсь пожеланиям Марии, я прервал свой шутливый разговор с Мальвиной и принялся заманивать обеих паломниц к себе в Дом творчества. Я пообещал показать им домик Волошина, сводить на наш литфондовский пляж и в мастерскую, где можно заказать перстень или кулон из сердолика и агата, которые мы сообща обязательно найдем на побережье. И уж чтоб совсем сломить сопротивление Марии, я, может быть, и не без тайно проснувшейся вдруг во мне гордыни сказал ей:

— Я подарю вам свою книгу.

— Роман? — неожиданно удивила, но одновременно и польстила моему самолюбию Мария. (Значит, читала, значит, знает, что я все-таки добился своего и здесь, в писательском Доме творчества, обретаюсь не случайно).

— Можно и роман, — уклончиво и опять же без гордыни ответил я,

опасаясь и желая узнать, что она думает об этом романе, о первой его фразе: «В тот год я жил на берегу Балтийского моря в старом заброшенном доме».

Мария все еще сомневалась, нисколько не прельщаясь моими обещаниями и посулами. И раз, и в другой она оглянулась на холмы и курганы, по которым бежала в сторону Феодосии извилистая тропинка, проложенная, может быть, еще Волошиным и его многочисленными гостями-поселенцами. Потом перевела взгляд на пост пограничной заставы в поселке Орджоникидзе, где в эти минуты, насколько я мог понять изда-дека, шла смена караула. Неведомо почему, но мне показалось, что Мария готова сейчас скорее отправиться к пограничникам, жизнь и службу которых так хорошо знает по своему знакомству и ежедневному общению с ними на Куршской косе, чем ко мне, малознакомому и давно забытому постояльцу. И, наверное, пошла бы. Но тут вдруг меня поддержала Мальвина.

— Мама, — настойчиво, но не капризно, сказала она, — я хочу посмотреть на дом Волошина и искупаться — очень жарко.

Мария еще раз посмотрела на караульную будочку пограничников с ослепительно блестящим на солнце прожектором (можно было подумать, он зажжен и выискивает длинными цепкими лучами в море нарушителей), взглянула на удлинненно-обрывистый холм-аэродром в поселке Планерская, где в эти минуты готовился к разбегу стремительно-ширококрылый планер. И столько в этом ее взгляде было тревоги, тоски и усталости, что я невольно подумал — только позволь ей, и она сейчас, не задумываясь, улетит на серебрянокрылом, неустойчивом планере за горизонт и дальше горизонта, как уплыла когда-то, оставив меня одного на дюне, в ледяное янтарное море.

Но Мария все же преодолела себя и не стала противиться Мальвине: — Хорошо, пойдем. Только недолго.

Выстроившись гуськом, мы стали ускоренным шагом спускаться вниз, к морю и Дому творчества: Мальвина впереди, потом Мария и, замыкающим, я. Разговаривать на ходу было не очень удобно (Марии и Мальвине постоянно пришлось бы оборачиваться, а это опасно — в любой момент можно соскользнуть с тропинки и сорваться под откос), и я, отложив все разговоры на потом, когда мы расположимся на пляже или будем собирать халцедоны, лишь изучающе поглядывал на своих спутниц.

Мальвина совсем была не похожа на Марию: высокая, длинноногая, с почти еще детскими угловато-остро приподнятыми плечами, она напоминала сейчас молодую неокрепшую птицу, которая, разбежавшись с холма, через мгновение тоже взлетит вслед за матерью, но полет ее будет совсем иным: веселым, безоглядным и необдуманно высоким.

Мальвина действительно бежала по крутой тропинке, оставляя нас с Марией далеко позади. Солнце играло в ее густых, ниспадающих до самого пояса волосах — и они показались мне, как и когда-то на балтийском побережье, голубыми.

Поджидая, Мальвина иногда останавливала свой разбег, оглядываясь на нас, идущих осмотрительно и осторожно, и вот тогда, в повороте ее длинной шеи, в высоко приподнятом подбородке я узнавал черты Марии и ревновал Мальвину к матери.

Мы с Марией убыстряли и без того быстрый для нас шаг и оказывались друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Мне хотелось прикос-

нужды к ее плечу и шее, и я вспоминал, как хотел этого много лет тому назад, когда мы с Марией поднимались на Королевскую дюну. Но я не прикасался, вдруг почувствовав и физически ощутив в себе ту, прежнюю, робость...

* * *

Возле домика Волошина мы остановились всего лишь на несколько мгновений, решив, что посетим и осмотрим его вечером, когда немного спадет жара, а сейчас надо поскорее идти на пляж — Мальвина совсем изнемогла от зноя.

Народу на пляже было мало. Обитатели Дома творчества после сытного обеда любили поспать в прохладных домиках, чтобы вернуться к морю только в предвечерние, а то и совсем уже вечерние, почти ночные часы, когда вода будет и свежей, и теплой, словно парное молоко. Вечернее и ночное купание считалось среди писателей (и особенно среди их жен) признаком хорошего тона, и многие предпочитали его утреннему, когда и море еще холодное, и на пляже так многолюдно и суетно, что негде яблоку упасть.

Воспользовавшись этим поистине «мертвым часом», мы выбрали себе самое удобное и уединенное место под крутым обрывом, принесли туда и расположили в полукруг три дощатых лежака. Я открыл бутылку сухого белого вина, которую купил, несмотря на протесты Марии, в маленьком павильончике на самом подходе к Дому творчества. Там же я предусмотрительно приобрел пластмассовые, начавшие уже тогда входить в моду стаканчики, кружочек копченого сыра сулугуни, мягко-ноздреватую лепешку лаваша и коробку конфет — все самое богатое и дорогое, что только нашлось у бойко-расторопной продавщицы.

Раскладывая несметное это богатство на мохнатом полотенце, которое достала, смирившись с моим упрямством, из сумки и жертвенно растелила между лежаками Мария, я, с иронической улыбкой (сам не знаю, как это случилось), сказал:

— Жаль, нет угрей и перцовки.

— Жаль! — вполне серьезно ответила Мария.

Мальвина, ничего не поняв в наших подтекстах, по-молодому хватисто и хищно разломала на три равных части сыр и лаваш и, примиряя нас с Марией, положила перед каждым его долю, словно во время поминальной трапезы.

Сравнение это пришло в голову, наверное, только мне одному, потому что и Мария, и Мальвина были настроены совсем по-иному: обе радовались южному горячему солнцу и южному морю и, без всякого сомнения, тому, что неожиданно-негаданно встретили здесь старого знакомого. По крайней мере, радовалась Мальвина, вдруг вспомнив, как она когда-то каждый вечер поднималась ко мне на мансарду, чтоб пригласить к вечернему чаю.

Мы выпили за неожиданно-случайную эту встречу, закусили лавашем и сыром. Вино было холодным и терпким, а лаваш и сыр первородно пахли молоком и дымом. Перцовку и змееподобных угрей здесь в сорокаградусный зной пить и есть было бы невозможно.

Я потянулся за бутылкой, чтоб налить по второму стакану, на ходу придумал вполне подходящий к случаю тост «за женщин и море», но Мальвина вдруг поднялась с лежака и простодушно сказала:

— Я пойду купаться, а вы оставайтесь.

— Далеко не заплывай, — по-матерински озабоченно предупредила ее Мария, но удерживать не стала.

Я вернул бутылку на прежнее место, вдруг почувствовав, что пить вино без Мальвины нам не надо. Мария молча согласилась со мной и накрыла свой стаканчик плоской серо-зеленой галькой, опять невольно напомнив мне поминальный обычай, когда в Красном углу рядом со свечой ставится прикрытый ломтиком хлеба стакан для умершего.

Чтоб поскорее избавиться от этого тягостного, бог знает почему, пришедшего в голову сравнения, я предложил Марии развернуть стеллажи к солнцу и позагорать, пока Мальвина купается. Мария без малейшего сопротивления согласилась со мной, хотя я почти был уверен, что она тоже уйдет сейчас к морю, поднырнет под волну и уплывет за волнорез и горизонт, опять запретительно сказав мне: «А вы не смейте! Море холодное — простудитесь» или что-то в этом роде: «Море глубокое — утонете!» или «Море горячее — обожжетесь!» Но она не уплыла, а первой ушла к лежакам, которые я не без долгого колебания поставил совсем рядом.

Безжалостно постелив на лежаке свое светло-сиреневое удлиненное платье, которое сняла, едва придя на пляж, Мария легла на него и устало прикрыла глаза.

Тело ее было, как и прежде, налитым и натренированным, без единой морщинки, телом пловчихи и ныряльщицы.

Несколько минут я молча лежал рядом с Марией, исподтишка наблюдая за ее ровным спокойным дыханием. Оно не учащалось и не ослабевало: во время вдоха на груди из-под купальника показывалась узенькая незагорелая полоска, а во время выдоха она целомудренно исчезала. Дыхание Марии напоминало равномерный прилив и отлив морской волны, и по этому умиротворенному ритму я понял, что Мария не спит и не пытается уснуть, а просто лежит и загорает под обжигающе-жарким солнцем, действительно устав после долгой пешей дороги из Феодосии.

— Вы по-прежнему живете на Куршской косе? — нарушил я, наконец, молчание, раз она все равно не спит.

— Живем! — открыла Мария глаза и чуть повернула голову в мою сторону.

— А как оказались здесь? — не мог уже остановиться я.

Мария ответила вполне охотно, как, пожалуй, ответила бы любому иному человеку, с которым случайно познакомилась на южном пляже:

— В Феодосии живет сокурсница Мальвины, вот мы и приехали. В наших песках и сырости она часто болеет бронхитом.

Теперь, когда разговор начался, мне можно было спросить Марию о дюнах (поднимается она на них или нет?), о «танцующем лесе» или о том, собирает ли она по утрам, как и прежде, янтарь. Но я почему-то напомнить ей об этом не осмелился и спросил совсем об ином:

— Баба Настя жива?

— Жива, — еще более повернув голову в мою сторону, ответила Мария.

— Она очень хорошая женщина, — вспомнил я добрым словом бабу Настю (мы с Марией вслед за Мальвиной называли ее не тетей Настей, а бабой), ее солдатскую телогрейку, беспалую руку и шрам на щеке.

— Хорошая и несчастная, — после минутного колебания сказала Мария.

— Почему несчастная? — не все понял я в ее словах, хотя еще пят-

надцать лет тому назад, впервые увидел бабу Настю, сразу догадался, что она человек очень одинокий.

— Потому что... — немногословно пояснила мне Мария, — она никогда не была замужем и у нее никогда не было детей.

Я замешкался, не зная, то ли задать Марии еще одно «почему?», то ли лучше перевести разговор на что-либо иное.

Мария догадалась о моих сомнениях и сама ответила на незаданный мой вопрос:

— В войну у нее было тяжелое ранение, и она не могла иметь детей. А раз не могла иметь детей, то зачем — замуж!

Слова эти Мария произнесла с неожиданной резкостью и крепко сжала в ладони подвернувшуюся ей под руки гальку, чем выдала свое волнение, а может, и раздражение на меня за праздное любопытство.

Она опять закрыла глаза и теперь, похоже, действительно уснула. Дыхание у нее было тихим и умиротворенным, и за каждым вдохом-выдохом утишалось еще больше, и продолговатая галька скатилась на землю и через мгновение ее уже нельзя было различить среди сотен и тысяч подобных.

Я обрадовался, что Мария уснула и что мне ни о чем с ней больше не надо разговаривать. Я стал думать о бабе Насте, о ее суровом солдатском решении не выходить замуж, коль нельзя иметь детей. Счастья же лишь для самой себя баба Настя, судя по всему, не признавала.

И вдруг Мария, не открывая глаз и не поворачиваясь ко мне, на ощупь снова сжала в ладони гальку и негромко спросила меня:

— Почему вы тогда, на Королевской дюне, не признались мне в любви?

— А разве я вас любил? — тоже тихо, вполголоса, уклонился я от прямого ответа.

— Любили! — твердо, без колебания произнесла она.

Мне, наверное, надо было протянуть к ней руку, накрыть ее ладонь своей ладонью, но вместо этого я задал ей свой, давно, оказывается, мучивший меня вопрос:

— А вы почему не признались?

— Но я же вас не любила, — опять твердо и неоспоримо, ответила Мария. — А потом — я все-таки женщина.

Раскаленная галька так и осталась лежать в ее ладони. Я почти физически ощутил, как она обжигает Марии кожу, но забрать гальку так и не решился. Вернее, опоздал: Мария вдруг сама отбросила ее и завершила наш странный, в общем-то, ни к чему не обязывающий разговор.

— Вам надо было уйти тогда в море, — сказала она, — простым матросом на торговом судне или рыбаком.

— Зачем? — перебил я ее на полуслове.

— Не знаю, — пронзительно взглянула она на меня, — но надо было.

Я ожидал, что Мария сейчас не сдержится и добавит: «А вы бежали в Россию, на сушу», но она ничего больше не сказала, а лишь обеспокоенно посмотрела на море, отыскивая взглядом среди редких купальщиков Мальвину.

Мне предстояло что-то отвечать: оправдываться за свое юношеское бегство, но нужных, единственно верных слов не находилось — меня охватила непереносимая, почти стариковская тоска. Ведь я и на самом деле порывался когда-то уйти в море или в Куршский залив (и до сегодняшнего дня не забыл об этом) и поймать там для Марии и Мальвины такую

громадную меч-рыбу, что ей позаиводвал бы сам старик из хемингуэевского рассказа. Но вот же — не ушел...

В который раз в жизни меня выручила Мальвина. Она вдруг подбежала к нам вся мокрая, сияющая восторгом и радостью и закричала, показывая рукой в сторону Карадага:

— Смотрите, смотрите, там дельфины!

Мы с Марией приподнялись на локтях и действительно увидели, как при входе в бухту, возле Карадага, напоминающего голову Волошина, счастливо играют две пары дельфинов. Они, совсем как в цирке, то синхронно взлетали над водой высоко вверх, то уходили в морские пронизанные солнцем глубины, то, забавляясь, переворачивались со спины на живот и что-то говорили друг другу на своем дельфиньем языке, может быть, даже про нас, сухопутных, боящихся морской стихии людей.

— Я поплыву к ним! — загорелась Мальвина и хотела уже бежать назад к морю, но Мария на этот раз остановила ее:

— Не надо — вспугнешь!

Мальвина резко затормозила свой бег, чтоб и вправду не вспугнуть дельфинов, которые, заметив ее приближение, уплывут подальше от назойливых человеческих глаз.

Подойдя к кромке моря, мы с полчаса наблюдали за игрой дельфинов. Мальвина по-прежнему восторгалась ими, давала обещание, что в следующий раз обязательно поплывет к ним и заведет человеچه-дельфинью дружбу. А мы с Марией следили за ними молча, не проронив ни единого слова, как будто были на них за что-то обижены. Но вот дельфины, должно быть, утомленные игрой: прыжками, кувырканьем и разговорами, вынырнули в последний раз и, к огорчению Мальвины, исчезли за поворотом скалы.

Сглаживая ее огорчение, я увлек Мальвину собирать сердолики и агаты, втайне надеясь, что и Мария последует за нами, и мы с ней обязательно вспомним, как собирали холодно-чистый янтарь на побережье Куршской косы. Но она вслед за нами не пошла, а так и осталась стоять у кромки моря, отрешенно глядя вслед уплывающим дельфинам.

Нам с Мальвиной повезло. Едва мы сделали несколько шагов в сторону Карадага, как обнаружили маленький светло-синий сердолик. Он мгновенно высох на ладони у Мальвины, и она с детским удивлением сказала о нем:

— Какой теплый!

Ободренные удачей, мы, как истинные кладоискатели, стали еще зорче вглядываться в россыпь мелкой прибрежной гальки, загадывая отыскать камушек покрупнее, с каким-нибудь необычным рисунком-начертанием или напоминающими созвездия крапинками, или с разводами, которые часто встречаются на голубовато-серых агатах. Но нам долго ничего не попадалось, и я, чувствуя перед Мальвиной за это невольную вину (все-таки проводником и главным старателем был я), принялся спрашивать свою спутницу и ученицу о ее жизни и учебе. Правда, я никак не мог привыкнуть, что Мальвина уже взрослая серьезная студентка и разговаривал с ней чуть-чуть снисходительно, словно она навсегда осталась той маленькой девочкой, которую я знал.

— Ты на кого учишься? — не в силах преодолеть в себе этого предвзятого чувства, спросил я.

— На путешественника! — и действительно, будто малый ребенок, ответила Мальвина.

— Как это? — удивился я.

— Очень просто, — улыбнулась она. — Я изучаю биологию и географию, но хочу быть путешественником. Я однажды уже путешествовала.

— Куда? — поддержал я в ней жажду детства и законную гордость.

— В Африку, — нескрываясь гордясь своим поступком, ответила Мальвина. — На нашем калининградском научно-исследовательском судне. А теперь хочу поехать на Алтай и, если отпустит мама, еще дальше — в Беловодье и на Тибет.

«А не боишься?» — опять, как взрослый у ребенка, вознамерился я спросить будущую покорительницу Алтая и Тибета, но меня опередила Мария.

— Мальвина! — точно так же громко и требовательно, как и много лет тому назад в сумерках прибалтийского вечера, позвала она слишком задержавшуюся у моря дочь. — Нам пора домой!

Ослушаться Марию мы с Мальвиной не посмели и поспешили на ее зов.

Пока мы с Мальвиной шли, Мария успела одеться и ждала нас возле решетчатой калитки, ведущей на территорию Дома творчества.

— А мастерские?! А книга?! А домик Волошина?! — неожиданно показала строптивый свой нрав Мальвина.

Мария посмотрела на солнце, начавшее клониться к морскому горизонту и закату, и попробовала отговорить ее от обещанной экскурсии:

— Поздно уже.

— Ничего не поздно, — не поддавалась матери Мальвина. — Мы уплыдем отсюда последним пароходом.

Насчет парохода она ничего не выдумывала: от причала, расположенного сразу за павильончиком, где мы купали вино, несколько раз в день ходил до Феодосии маленький прогулочный катер. Судя по всему, Мальвина, как истинная путешественница, заметила утлый этот кораблик и теперь очень даже кстати вспомнила о нем.

Мария, несколько мгновений поколебавшись, все-таки уступила Мальвине, хотя и чувствовалось, что она устала и от непривычной для нее жары, и от слишком теплого моря, и от этого совсем ненужного ей похода на писательский, похожий на резервацию, пляж.

— Ладно, — примиряясь со своей участью, сказала она, — ведите...

И мы с Мальвиной повели Марию через всю территорию Дома творчества, единственного благоухающего зеленого островка на всем побережье от скал Карадага до холма Кучук-Енишара и взлетной полосы планеров. Вернее, на правах хозяина, вел один я, но Мальвина, как соучастница нашего с ней заговора, быстро освоилась на широкой затененной деревьями аллее и шла так уверенно, как будто бывала здесь, в Кюктебеле, уже десятки раз.

В мастерской мы показали найденные нами камешки ювелиру и чеканщику, очень расторопному и, сразу было видно, хитроватому, дочерна загоревшему мужчине лет пятидесяти. Оглядев наши находки и простым глазом, и под лупу, он сказал, что, конечно, можно из них сделать маленькие перстеньки, но лучше купить уже готовые. Мальвина поначалу не соглашалась с ним, а потом вдруг загорелась и стала выбирать себе перстенок из тех, что были выставлены на витрине и из тех, которые целой россыпью выметнул перед ней предприимчивый мастер. Мальвина поочередно примеряла их на пальчик, любовалась и не знала, на каком остановиться. Я, как мог, помогал привередливой покупательнице, по-

буждая примерить еще и кулон или ожерелье, которых тоже было на витрине достать и которые я решил, во что бы то ни стало, подарить Мальвине. Поддаваясь моей подсказке и понуждению, она зачарованно примеряла их и тоже не знала, какой из них самый лучший.

А Мария в нашем выборе никакого участия не принимала. Она незаметно стояла возле двери, словно совершенно случайно, по ошибке, зашла сюда и сейчас же, немедленно, уйдет.

И вправду ушла бы из прохладной спасительной мастерской под лучи закатного, но все равно еще нещадно, знойно палящего солнца. Я вознамерился и ей сделать подарок и едва ли не насильно подтолкнул к витрине:

— Выбирайте!

— Спасибо, — поняла она мои намерения, но устояла и к витрине не подошла: — Я не люблю украшений.

— Мама говорит правду, — видя мое огорчение, сказала Мальвина, — она ничего такого не любит.

Сама же Мальвина подарок от меня приняла. Она, наконец, выбрала продолговатый сиренево-голубой перстенок и точно такое же ожерелье с крупным кулоном посередине. Украшения эти очень шли ей: к ее удлиненной руке (удлиняя ее еще больше), к ее загорелой шее и пышным, вольно разметавшимся по плечам волосам...

* * *

По дороге назад мы ненадолго зашли в мой дощатый холостяцкий домик, и я выложил перед гостями свои книги (роман и одну новую, недавно только вышедшую), которые захватил с собой в Дом творчества, чтоб подарить их какому-нибудь знакомому писателю, оказавшемуся в одном «заезде» со мной. Роман Мария сразу отвергла, отодвинула в сторону, сказав, что он у них есть в библиотеке (в библиотеке, а не у нее дома, что меня, конечно, огорчило), и выбрала книгу повестей и рассказов. А Мальвина безоговорочно взяла роман:

— Он мне нравится! — с чрезмерным восторгом сказала она, как будто хотела заглядеть вину матери.

Пока я мучился над автографами (я в этом жанре не очень большой мастер), Мальвина подошла к зеркалу и принялась любоваться моим подарком: ожерельем на шее и перстеньком на пальце. Она подносила пальчик к ожерелью, задерживала перстенок возле кулона, придирчиво проверяя, подходят ли они друг другу. По ее весело играющим глазам было видно, что она проверкой этой довольна и вообще довольна всем на свете.

Мария тоже и раз, и в другой посмотрела на Мальвину, на ее отражение в зазеркалье, задержала поочередно взгляд на перстеньке и ожерелье (все-таки она обманула меня, и, как всякая женщина, была неравнодушна к украшениям, но только почему-то, по какому-то обету не носила их). Я собрался спросить, довольна ли она выбором Мальвины, но вдруг меня охватила тревога. Мне показалось, что Мария вспомнит сейчас о янтаре с застывшей в нем мушкой, который когда-то подарила мне на счастье, — храню я его или нет?

Долгие годы я действительно бережно этот камушек хранил. Он всегда лежал на моем письменном столе и, как и предсказывала Мария, приносил счастье. А потом вдруг куда-то заделался. И, несомненно, по моей вине. Для лучшей сохранности я переложил его со стола в какое-то иное, более надежное место, и тут же запамятовал — в какое. Спохватившись,

пытался искать камушек, досадовал на себя, но с годами досада эта постепенно затихла, и я перестал тревожиться о его исчезновении. Оно и вправду, чего мне было о нем тревожиться. Жизнь моя и без янтарного талисмана складывалась как нельзя лучше. Все у меня было: любимая работа, почти что литературная слава, любимая и любящая жена, любимые дети — что еще нужно человеку для полного счастья?!

Если Мария спросит, как отвечать? Сказать, что храню, будет неправдой. Сказать, что потерял, будет для нее горькой обидой и огорчением.

Но Мария ни о чем меня не спросила. Скорее всего, тоже запомнила о давнем своем подарке и пророчествах.

Она спрятала книги в пляжную сумку и, взглянув на часы, поторопила Мальвину, которая продолжала любоваться перед зеркалом и подарками, и собой.

— Пошли! Друзья твои в Феодосии будут волноваться.

— Ничего, пусть поволнуются, — беспечно сказала Мальвина, но матери подчинилась и не пошла, а величественно-гордо понесла себя на выход, повзрослевшая, выросшая девочка с голубыми волосами. И в эти мгновения она удивительно была похожа на Марию, на Аве Марию, такая же загадочная и непредсказуемая...

* * *

Возле дома Волошина мы задержались тоже всего минут на десять-пятнадцать, обнаружив, что на причале уже полным ходом идет посадка на последний вечерний катер. Но Мальвина все равно успела пробраться за ограду волошинского дома и проникнуть по крутой лесенке на шаткий балкон, опоясывающий почти по всей окружности второй этаж. Оттуда она победно помахала нам с Марией рукой, и в эти мгновения была удивительно похожа уже не на мать, а на одну из знакомых Волошина, обитавших в этом доме полвека тому назад.

Когда же она спустилась к нам, то, уподобясь знакомой Волошина из двадцатых годов, мечтательно сказала:

— Я хочу пожить здесь.

— А разве у нас хуже?! — не смогла скрыть своей обиды и тревоги Мария.

— У нас лучше, — успокоила ее Мальвина, но минуту спустя ласково погладила ладонью ограду и добавила: — Только у нас нет ни дельфинов, ни планеров...

— Нет! — не очень сентиментально ответила Мария и пошла к пароходу, который уже подавал сигнальные гудки.

Мы едва-едва успели на него. Прощаясь, Мальвина обняла и поцеловала меня, еще раз поблагодарила за подарки, Мария же не обняла и не поцеловала. Она лишь уже возле самого трапа неожиданно задержалась и спросила меня:

— А ваш могильный курган в деревне цел?

— Увы, нет, — ответил я. — Его разобрали на песок, когда строили шоссеюную дорогу.

— Вот видите, — с упреком произнесла Мария, и это были последние слова, которые я от нее услышал.

В следующее мгновение Мария быстро поднялась по трапу и невидимо смешалась с толпой.

А Мальвина до самого отплытия катера стояла на верхней палубе,

возле капитанской рубки, махала рукой и, стараясь пересилить пронзительные гудки уже окутанного вечерними сумерками и маревом опасного суденышка, кричала мне:

— Мы еще приедем! Мы обязательно приедем!

* * *

Но они больше так и не приехали.

Первые два-три дня я, по правде говоря, не очень их и ожидал. У Марии и Мальвины ведь там, в Феодосии, какая-то своя жизнь, обязательства перед друзьями Мальвины, которые могут и обидеться, если гости-постояльцы, оставив их, зачастят ездить неведомо зачем в Коктебель.

Я за эти дни постепенно втянулся в обычный для большинства отдыхающих писателей ритм существования: с утра два-три часа писал новый, задуманный мною еще дома рассказ, потом шел на пляж, купался, загорал, вел затяжные беседы с многоумными своими собратьями по перу и еще с более многоумными их женами. После обеда безмятежно спал или бродил по окрестностям Коктебеля. Однажды даже съездил в Старый Крым, в дом-музей Александра Грина.

Но на четвертый день я не на шутку начал беспокоиться и томиться ожиданием. Сразу после завтрака, не прикасаясь к своим сочинениям, пошел на холм Кучук-Енишар, к могилам Волошина и его жены, почему-то совершенно уверенный, что Мария и Мальвина уже там. Но их не было ни на холме, ни на диком пляже возле поселка Орджоникидзе и пограничной заставы. Я совсем затосковал и, вернувшись в Дом творчества, весь остаток дня провел на пристани, встречая и провожая каждый феодосийский катер. Но Мария с Мальвиной и на катере ко мне не приплыли.

С этого дня весь отдых мой и работа разрушились. Я был занят лишь ожиданием Марии с Мальвиной. Утром просыпался с одной и той же мыслью, что уж сегодня они непременно приедут; вечером, иногда еще засветло, ложился спать и утешал себя: не приехали сегодня, так обязательно приедут завтра — ведь обещали приехать и не могут не сдержать своего обещания...

Правда, в тревоге ожидания я забывал, что обещала приехать одна лишь Мальвина, а Мария ничего не обещала, спросила только меня за чем-то о деревенском могильном кургане и невидимо затерялась в толпе.

Совсем отчаявшись, я сам два или три дня подряд плавал на катере в Феодосию, бродил там по всем пляжам, заглядывал в картинную галерею Айвазовского, на вокзал и на пристань, надеясь где-нибудь все же встретить Марию с Мальвиной.

Но потом вдруг спохватился и ездить перестал. Ведь вполне могло случиться, что как раз в тот день, когда я искал Марию с Мальвиной в Феодосии, они ездили ко мне, в Коктебель, и вот по моей же неосмотрительности и вине мы разминувшись...

Срок моего проживания в Доме творчества между тем подошел к концу. В последний день я сходил на холм Кучук-Енишар, попрощался с могилами Волошина и Марии Степановны (тоже давно и неизменно заведенный в Доме творчества ритуал), искупался в вечернем засыпающем море, понаблюдал за дельфинами, опять устроившими свои показательные игры при входе в бухту, а рано утром, ни свет ни заря, уехал рейсовым автобусом в Симферополь, чтоб улететь оттуда в родной свой город...

Дома же меня сверх всякой меры заполонили дела и заботы, мелкие и рутинные: ремонт квартиры, переговоры с издательством о новой книге, какие-то ненужные собрания и совещания в Союзе писателей. Занятый ими, я все реже и реже вспоминал о Марии с Мальвиной, о случайной нашей встрече с ними в Крыму, а потом и вовсе забыл о них...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Жить в забвении и забвении мне было легко и спокойно: ничто не тревожило и не отвлекало от работы. Но вот однажды в Москве на Старом Арбате я лицом к лицу столкнулся с Мальвиной. Она первой узнала меня и окликнула, а я, поди, и проследовал бы мимо — так Мальвина повзрослела и переменялась. Во время последнего нашего свидания в Коктебеле она была в общем-то еще угловатой девчонкой-подростком, а теперь превратилась в двадцатипятилетнюю зрелую женщину. От прежней, озорной и не всегда послушной, Мальвины остались, пожалуй, лишь одни ниспадающие до плеч чуточку голубоватые волосы. Впрочем, мне могло так просто показаться при свете ярко вспыхнувшей вдруг неоновыми огнями витрины, возле которой мы остановились.

— Какими судьбами в Москве? — искренне обрадовался я встрече с Мальвиной.

— Учусь в аспирантуре, — тоже нескрываяемо обрадовалась она моему появлению.

Мы зашли в первое попавшееся кафе, заняли маленький, всего на двоих, столик в уголке возле окошка, заказали вино, кофе, какие-то изысканные закуски (Мальвина обнаружила в этом большие познания) и начали на радостях пировать.

— Ну, как ты, побывала на Алтае и в Гималаях? — принялся я выспрашивать ее.

— Побывала! — немного с вызовом, как в давние годы, ответила Мальвина.

— И страну счастья — Шамбалу — нашла?

— Почти, — сказала она, но уже почему-то без прежнего вызова.

— Замужем? — решил я переменить тему разговора.

— Тоже почти, — уходя от прямого ответа, усмехнулась Мальвина.

Я минуту помедлил, а потом спросил о том, о чем надо было, конечно, спросить в первую очередь:

— Как мама?

Мальвина ответила не сразу. Она достала из сумки сигареты, красиво и опытно закурила, откинув далеко на отлет длинную загорелую руку, долго держала дым в груди, а когда, наконец, выдохнула его, то посмотрела на меня по-детски большими, но напряженно суженными глазами:

— Мама уже три года нет в живых.

— Как нет в живых?! — не смог сдержать я невольного вскрика.

— Она утонула, — еще сильнее сузились ее глаза.

— Но мама же так хорошо плавала! — вспомнил я наш с Марией поход на Королевскую дюну, когда она, поднырнув под штормовую волну, уплыла от меня почти за горизонт.

— Плавала... — не стала спорить со мной Мальвина.

Она перевела взгляд в окошко, на шумную староарбатскую толпу, на каких-то иностранных развязных туристов, как раз остановившихся воз-

ле кафе, потом, как бы случайно обнаружив меня и удивившись этому, сказала вполголоса еще несколько почти бессвязных слов:

— Мама собирала на побережье янтарь, ее накрыло штормовой волной, и она не смогла выплыть.

Мальвина сделала небольшой глоток вина, поправила разметавшиеся волосы и вдруг как бы сама для себя произнесла:

— А может, не захотела выплыть...

— Но почему?! — изумился я жестокой ее догадке.

— Это знала только одна она, — опять не столько для меня, сколько для самой себя проговорила Мальвина.

В моей памяти всколыхнулось все, что связывало меня с Марией от первого дня нашего знакомства и до последних минут расставания на причале в Коктебеле, и я не поверил повзрослевшей ее дочери. Не было у Марии никаких причин, чтоб не выплыть. Просто произошел несчастный случай, что на море, увы, происходит часто. Я хотел сказать об этом Мальвине, но сказал все-таки совсем иное:

— Мама была очень странным человеком.

— Станным, — с неожиданно прорезавшимся серебряно-звонким переливом в голосе проговорила она. — Станным и несчастливым.

— Почему несчастливым? — заступился я за Марию.

— Потому, что одиноким, как баба Настя, — отвергла мое заступничество Мальвина.

— Но у нее же были вы!

— Была! — с трудом сдержала слезы Мальвина. — Но, может, лучше бы меня не было вовсе...

Что скрывалось за этими ее несправедливыми словами, я разгадать не мог, но что-то же скрывалось, одинаково роковое и для Марии, и для Мальвины, и, возможно, для меня. Угнетенный и потерянный, я сидел тихо, безотрывно смотрел на взрослую дочь Марии и чувствовал себя гораздо моложе ее по летам. Она пережила самое тяжелое в своей жизни горе три года тому назад, а я переживал свое только сейчас, у нее на глазах.

Мальвина слезы сдержала и, успокаивая меня, заговорила о матери чуть отстраненно, как обычно говорят лишь о живых людях, с которыми расстались хотя и надолго, но не навсегда:

— Мама была не от мира сего. Такие люди долго не живут. Она это чувствовала.

— А ваш папа? — задал я Мальвине, наверное, самый мучительный для нее вопрос, который когда-то не посмел задать Марии.

— Что папа! — закурила новую сигарету Мальвина. — В детстве, когда я спрашивала о нем маму, она неизменно отвечала: «Папа ушел в море, но скоро вернется». Я верила и очень ждала его. В пятнадцать лет спросила еще раз, и мама ответила то же самое: «Папа ушел в море, но обязательно вернется». Больше о нем я не спрашивала.

Мальвина отогнала рукой в сторону окошка дым, и я заметил, как две крошечные слезинки повисли у нее на длинных густых ресницах. Ну, что мне стоило в эти мгновения сказать ей: «Вот я и вернулся!». Она бы поверила мне больше, чем верила когда-то матери. Мы обнялись бы с ней, прильнули друг к другу, родные по крови и духу люди, и уже никогда бы не расставались. Но я не посмел обмануть Мальвину, когда-то совсем маленькую, а теперь стремительно выросшую девочку из детской забытой сказки. Я лишь осторожно прикоснулся к ее плечу (плечу Марии) ладо-

ню. Она горячую мою ладонь не отстранила, прижалась к ней и вдруг, смахивая с ресниц слезинки, сказала:

— Я отыскала своих дедушку и бабушку.

— Они живы?! — обрадовался я за Мальвину так, как обрадовался бы, узнай, что жив, отыскался мой отец.

— Нет, они погибли, — безжалостно разрушила она преждевременные мои надежды. — Но не на войне...

— А где же?! — удивился я.

— В лагере! — чуть помолчав, ответила Мальвина.

— В нашем или в немецком? — переспросил я (тогда уже можно было об этом спрашивать).

— В нашем, — не утаила от меня правды Мальвина. — Их обвинили в измене Родине.

— Мама об этом знала?

— Думаю, знала, — глубоко вздохнула Мальвина. — Но, жалея и охраняя меня, скрывала, хотя они были реабилитированы.

Мне захотелось еще раз прикоснуться к плечу Мальвины, сильному, упругому плечу пловчихи и путешественницы, но Мальвина вдруг посмотрела на часы и заторопилась:

— Я должна уходить.

— Свидание?! — тоже почти сквозь слезы постарался улыбнуться я.

— Что-то вроде этого, — в тон мне ответила Мальвина, спрятала в сумочку сигареты, оглядела себя в маленькое зеркальце и встала из-за стола.

Я проводил ее до станции метро «Арбатская». По дороге, в сутолоке Старого Арбата и подземных переходов мы о чем-то с ней еще разговаривали (о чем, сейчас совершенно не помню, кажется, о ее учебе, о будущих путешествиях: я праздно спрашивал, Мальвина наугад отвечала). У входа в метро мы расстались, забыв даже обменяться адресами или хотя бы телефонами: людской поток затянул Мальвину в свой пугающий водоворот, а я остался у входа и вскоре потерял ее из виду...

* * *

Опять в моей жизни побежали дни за днями, иногда наполненные призрачными делами и событиями, а иногда так и совсем пустые и бесполезные, как, увы, это постоянно случается в старости. О Марии и Мальвине я поначалу часто вспоминал. О Мальвине даже чаще, чем о Марии, которую теперь, сколько ни терзай себя, не вернешь, как не вернешь свою прожитую жизнь. А увидеть Мальвину мне хотелось. Несколько раз я порывался съездить в Москву и отыскать ее, хотя и не знал, где она учится в аспирантуре: в МГУ или в каком-либо ином, специальном географическом вузе. Мечтал я съездить и в бывшую Восточную Пруссию, в Калининград, в городок, где я служил в армии (впрочем, ракетных войск стратегического назначения сейчас в Калининградской области, насколько я знаю, нет, и мою часть давным-давно расформировали), потом в Зеленоградск-Кранц и на Куршскую косу, где, может быть, еще жива баба Настя.

Но порывам моим так и не суждено было осуществиться. Мальвина, скорее всего, в каком-нибудь новом путешествии: на Тибете (ищет неизведанную страну счастья — Шамбалу), в африканской пустыне или в безводных степях Китая и Монголии. Она ведь тоже не совсем земная, не с

нашей планеты девочка-женщина, хотя, может быть, и сама об этом пока не догадывается. А на Куршскую косу сейчас просто так не попадешь, нужно добывать специальные разрешения, на что у меня нет уже никаких сил, да и баба Настя вряд ли жива (ей должно быть за девяносто, а до такого возраста редко кто из фронтовиков доживает).

И вдруг мне стали сниться холодное Балтийское море, Куршская коса, песчаные ее дюны, «танцующий» лес и маленький кирпичный домик с островерхой крышей и мансардой, который просто каким-то чудом удерживается на краю морского обрыва.

В глухую осеннюю полночь я отчетливо слышу, как на Королевской дюне поют, плачут и вызванивают, будто церковные колокольцы, пески. Не просыпаясь, я напрягаю слух, и мне кажется, что еще совсем немного, еще чуть-чуть, и я обязательно пойму, о чем же так тоскливо поют, звонят и плачут под напором ветра эти никем не разгаданные пески...

Публикация И.И. ЕВСЕЕНКО (младшего)